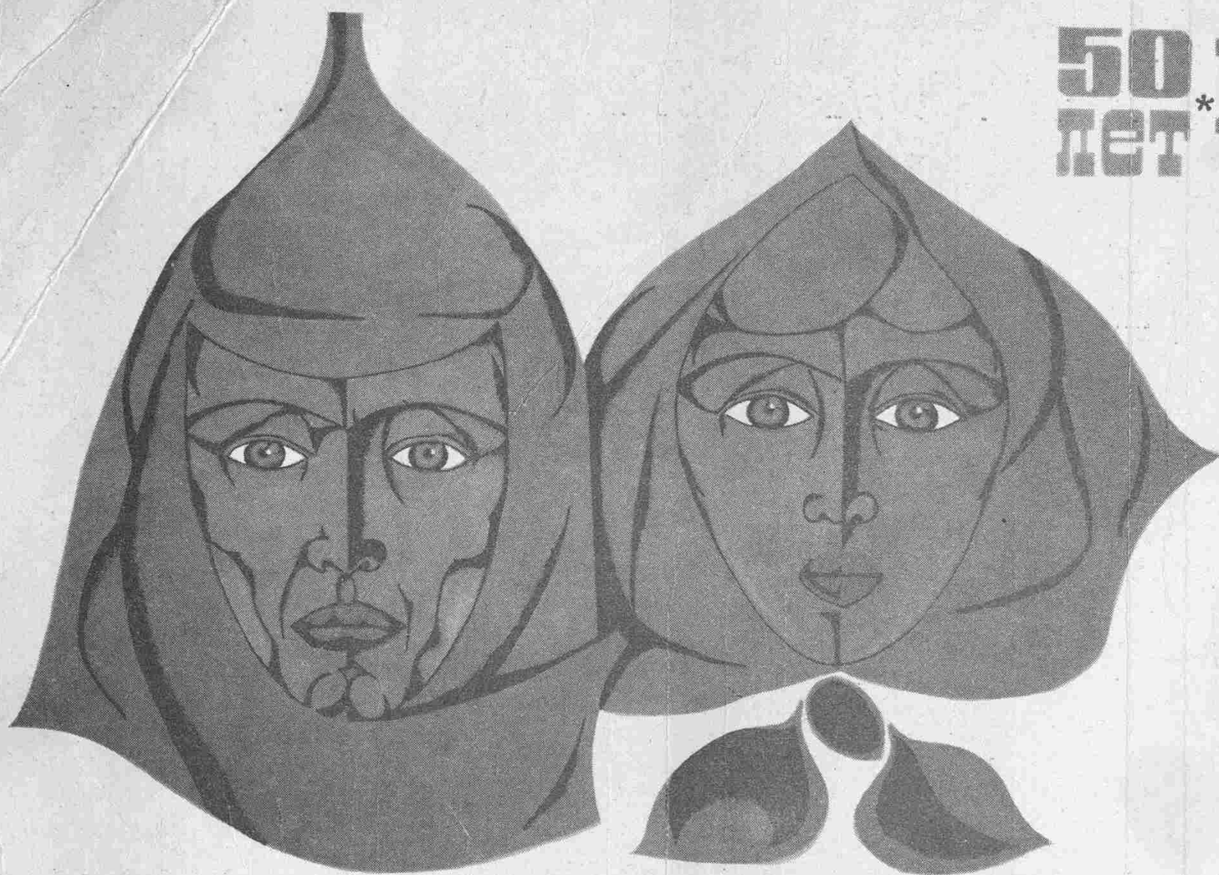
Ангара * 1968

5

СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ





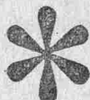
СЛАВА ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ

Плакат. Дипломная работа выпускника Иркутского училища искусств Г. Щербакова.

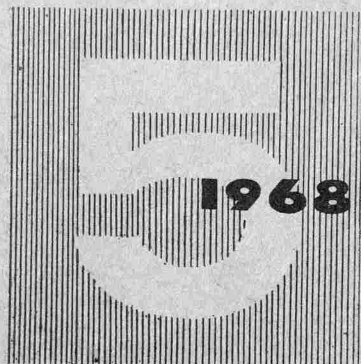
Ангара

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР



Год издания тридцать восьмой



1968 СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, Дом писателей. Телефон 4-56-76.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Михаил МОЦЕНОК

В БУЧЕ КИПУЧЕЙ

(Из записок уездного комсомольского работника двадцатых годов)

...И младое, и знакомое

Я стою перед поющими комсомольцами и комсомолками, смотрю в их вдохновенные лица — поют песню двадцатого года, поют звонко, от всей души... Они, члены клуба юных комиссаров, отлично знают все песни двадцатых годов, и всякий раз, когда заканчиваются занятия, они просят меня назвать песню... В песне их признательность за рассказанное. Клуб изучает традиции комсомола, досконально узнает о прошлом для настоящего и будущего. Юные коммунары — называют они себя, и в клуб приходят в форме, напоминающей знаменитую в комсомолии юнгштурмовку.

Моим слушателям 15—17 лет. Я не скажу, что передо мною племя младое, незнакомое. И младое, и знакомое! В 1920 году мы были в основном такими же.

Рожденный Октябрем, выпестованный Лениным и партией комсомол всегда молод душой и телом, неизбывна его горячая юность, революционность, присущи ему пытливость, самоотверженность, неиссякаемая жизнерадостность, неуемна его энергия и, что особенно важно, — товарищество, радость общения.

В этом смысл преемственности традиций. Меня радует устремленность юных коммунаров, их бережное и ответственное отношение к слову комиссар, их страстное желание познать глубже, шире, до самых мелочей юность дедов и отцов.

Конечно, они, комсомольцы конца шестидесятых годов, знают во много крат больше комсомольцев двадцатых годов. Они образованнее, культурнее, начитаннее, развитее, физически здоровее.

Они, комсомольцы сегодня, знают, им это ясно: кем быть, кем стать... Квалифицированный станочник, повелительница шелко-ткацких станков, оператор сложнейшей аппаратуры на химических заводах, инженер, педагог, геолог, врач, строитель, агроном, офицер, космонавт... Допытываются они у нас, коммунаров и комиссаров двадцатых годов, о самом важном. В подспудии желание слить романтику тех дней с романтикой сегодня...

— Мы хотим полно знать все о тех, кто носил кожанку...

— Поэты воспели вашу жизнь как жизнь в буче кипучей...

Четвертый год я бываю в клубе юных коммунаров, комиссаров. На каждом занятии я волнуюсь. Оно начинается песней о комсомольцах двадцатого года, о юных комиссарах, грудью встречавших врага и умиравших с песней... Я рассказываю... И скорее это не рассказ, а отчет дедов своим внукам, отчет старшего поколения младшему...

Кого любили, кем гордились?

...Само собой разумеется, нашей любовью, нашей гордостью был Владимир Ильич Ленин. Мы были его современниками. Владимир Ильич обращался к нам, мы обращались к нему. Мы любили свою юношескую коммунистическую организацию. Ведь свою юность мы начинали, когда не было комсомола, по улицам ходили жандармы, а на перекрестках маячили городовые, а потом их заменили интервенты, слетевшиеся на Ангару со всей планеты. По моему городу ходили английские, американские, французские, итальянские, японские и всякие другие каратели... Они прожигали жизнь в ресторанчиках на Звездочке, а мы ходили босыми и голодали... А на Байкале белогвардейцы уничтожали вожаков иркутской революционной молодежи. Их мы знали. Они были обычные парни, веселые, жизнерадостные. Заходили в мастерские, к нам, ученикам и подмастерьям.

Мы любили своих вожаков. Любили верно, пламенно, стояли за них горой, гордились. Большой, настоящей любовью пользовались секретари губкомов комсомола. Это были признанные вожаки...

Секретарь Иркутского губкома Николай Кузьян. 1920—1921 годы... Невысокий, сухонький, чернявый, внешне всегда спокойный, улыбчивый, чуть насмешливый... Голос у Коли Кузьяна негромкий, но его всегда внимательно слушают. И не бузят... «Буза!» Было такое слово... В него вписывались недисциплинированность, беспорядок, нарушение принятых традиций. При Коле Кузьяне не бузили... Влекли нас, уездных комсомольских работников, к Кузьяну его убежденность, собранность, подтянутость, умение работать. С ним было просто и легко... Умел Николай Кузьян слушать, вникать в жизнь, а главное, в трудности комсомольской организации. Бывали такие укомолы, работавшие по принципу известной крыловской басни, каждый тянул в свою сторону. Приезжал Кузьян — исчезала буза и дышалось легко...

Мало кто тогда знал, что Николай рос среди политических ссыльных, каторжан, в революцию паренек пришел зрелым, убежденным большевиком. Кузьяна забрали от нас в только что созданную Бурят-Монгольскую автономную республику, и мы, уездные, страшно негодовали, узнав, что Николай уехал в Забайкалье. Нам казалось, что и «недели» пойдут не так красиво и вся жизнь комсомольская побледнеет. Потом смирились... Все мы ходили под ЦеКой... ЦК играет человеком! — шутили активисты...

Однажды пришла из губкома телеграмма: «Выезжайте на пленум Михайлов». Губкомовцев мы знали. Михайловых среди них не было. В коридоре нас встретил высоченный дядя (теперь бы сказали: баскетбольного роста), светловолосый, шумный. Чувствовалось, что он вокруг себя не терпит тишины и одиночества. Он сразу же пришелся нам по душе. Как сейчас ни пытаюсь вспомнить — нет, ни разу я не видел Осю Михайлова в кабинете, за письменным столом. Губкомол размещался в КОРе — Клубе Октябрьской революции, ныне — здание театра музыкальной комедии. Ося Михайлов чаще всего спускался в фойе и расхаживал с толпой или садился на подоконник, а то бродил с ребятами по Амурской. Оратор отменный, он говорил остро, ярко, с юмором. Знал и любил философию, историю, театр. И никто из нас не догадывался, что чахотка подтачивает организм нашего Оси Михайлова, что дни его сочтены. Провожая в Москву, не думали, что скоро он уйдет из жизни.

В те годы в губкоме работали Георгий Страус и Георгий Стрелков, Иван Трибунский, талантливые организаторы, но в памяти встает во весь рост живой Степан Адаманцев, черемховец. Мы все его звали Атаманцевым, хотя он сердился. На иркутской земле не терпели слово атаман: были недоброй памяти атаман Красильников, атаман Семенов... Но, говорили мы, был и атаман Степан Разин, а комсомол его жаловал. Со Степана Адаманцева можно было писать портрет былинного богатыря: большого роста, косая сажень в плечах, широкая грудь и сильные большие руки шахтера, лицо с крупными чертами и сама доброта.

Любовь к Степану комсомолия выражала запросто. Его всегда избирали в президиум. Шумно выражали восторг, когда Степан, неуклюжий и стеснительный, выходил на сцену, разводя руками. Верила в него рабочая молодежь Иркутска, Черемхова, Усолья, Слюдянки... Он защищал интересы рабочей молодежи в совнархозе, профсоюзах, на заводах и фабриках. Грубоватым с хрипотцой голосом он сначала душевно убеждал, по-детски доверчивый, но когда возникала стена, он перевоплощался и громил, вел битву за «комсомольский процент»...

Что говорить — первая мировая война, а затем гражданская, годы разрухи и голода, а затем и нэп, на время допустивший и поднявший особенно жадную до прибылей мелкую буржуазию, сказались на молодежи, ее здоровье. И безработица была, и плохо питалась молодежь, и неважно одета, а к тому же рабочие подростки и юноши эксплуатировались нещадно в силу старой привычки. Надо было видеть нашего Степана, когда он водил молодых рабочих на медицинское освидетельствование, как он пламенем горел, выжимая путевки и дополнительное питание. Это же было впервые в истории! До этого парень попадал на медосмотр, когда его призывали в армию. А тут ради укрепления здоровья! Степан Адаманцев пылал. Едва ли не каждого надо было лечить...

Садился Степан за свой стол в большой комнате — кстати, в ней размещались все отделы — только чтобы писать... А это было для него мукой. Писал он страшно медленно, буквы наезжали одна на другую, слова он не дописывал. Мысли всегда опережали перо и на бумаге путались... Подпись у него была большая, во всю страницу.

Одним из первых губкомовцев Степан ушел учиться на рабфак.

— Голова у меня, верно, большая, что твой коммунальный отдел, ничего не скажешь, а вот знаний в ней очень мало...

Александр Панин. Это секретарь Иркутского губкомола из «варягов». К приезжим иркутяне относились не всегда доброжелательно. Не жаловали. А вот Саша Панин пришелся ко двору. Не помню, кого из Иркутска отозвали в Сиббюро ЦК РКСМ, а взамен прислали новосибирца. Сын печника, сам рабочий, Саша Панин быстро поднялся, хотя внешне ничем не выделялся. Приходился он по душе после общения. Отличала его редкая работоспособность, настойчивость, невозмутимость, требовательность и, пожалуй, завидное качество — умение доводить до конца начатое дело. Вначале он нам, уездным работникам, показался скучным, обычным, и голос у него тихий, не оратор, и чего-то стесняется, даже краснеет...

Работал он много, усидчиво и заставлял других; упорно сколачивал уездные комитеты, тщательно и вдумчиво все планировал, выбирал главное для себя и работников губкома. Атмосфера в губкоме, переехавшем на ул. К. Маркса, между четвертой и пятой Красноармейскими, стала творческой. У каждого отдела комиссия или коллегия. Слаженно работали губкомовцы Федор Гимп, Саша Мишурис, Додя Светлицкий, Сурков.... У Саши Панина был своеобразный нюх на способных до комсомольской работы... В губкоме появился Максим Старостин, парень со Звездочки, из Свердловского района...

...Вскоре после войны в Москве, у здания ЦК КПСС, я встретил генерала. Это был Максим Старостин, заместитель министра государственного контроля СССР, кандидат в члены ЦК партии, недавний первый секретарь Мурманского обкома КПСС. Не виделись мы лет двадцать. Вспомнили комсомольскую юность. Максима Старостина «открыл» Саша Панин. Он взял его из Балаганского укомола и рекомендовал завотделом губкома и по своей привычке учил, натаскивал... И звездинский комсомолец, сын машиниста, деповский, стал генералом, видным партийным и государственным работником, знающим инженером...

В тридцатые-сороковые годы в Челябинске я встречался с Паниным—выпускником института, инженером по сталеплавлению, работавшим над дипломом о плавке особой броневой стали.

Не удивился, когда в Донбассе, в Мариуполе, на заводе Ильича, у мартеновской печи знаменитого Макара Мазая встретил инженера Александра Панина, секретаря заводского парткома. Все такой же вдумчивый, упорный...

— Макар Мазай — герой... Это верно. Больше него никто еще не снимал столько стали с одного квадратного метра пода. Но его надо учить. Учить, иначе застоится и сдаст. Обгонят ученики...

И поехал знаменитый Макар Мазай в Промышленную академию.

Уездного масштаба

На Сибирской краевой веселое оживление у делегатов вызвала серия открыток — «Типы комсомольских работников». Ее завезли из Москвы и дарили делегатам. Неведомые художники в дружеских шаржах очень тонко и остроумно подметили и запечатлели черты тогдашних комсомольских активистов. Особенно удалась художнику комсомолка-активистка: в кожанке и сапогах, в юбке из негнущейся материи — мы называли ее, не знавшую износа, чертовой кожей, голова повязана красной косынкой, на солдатском ремне кобура с наганом, в руках брезентовый портфель. А лицо?! Само воплощение строгости и сознание величия строителя новой жизни!

Угадан и портрет уездного комсомольского работника. В солдатской гимнастерке, в галифе, заправленных в не по росту валенки, на голове видавшая виды буденовка, в руках тяжеленный портфель. В портфеле циркуляры губкома, газеты, книги, смена белья, часто все имущество. Кожанка была не у каждого. Кожанка

предмет гордости и зависти. Ты в кожанке — значит сила. Комиссар! К тебе всеобщее уважение и ненависть врагов, особенно кулачья. В кожанке ходили наркомы Дзержинский, Луначарский... Кожанку носил Яков Михайлович Свердлов.

Уездный — основной кадр комсомольских работников. Он живой организатор молодежи и исполнитель решений ЦК, крайкома, губкома, непосредственный распространитель коммунистических идей и новостей советской жизни, отчаянный борец за все законы Советской власти, проводник новых песен и игр. Без него не проводится на селе ни одна кампания, ни одна «неделя».

В кармане гимнастерки у него пачка мандатов... Кроме укомольского, обязывающего вести работу среди молодежи, инструктировать, организовывать и распускать ячейки, создавать избы-читальни, закрывать церкви, есть еще мандаты от разных уездных организаций... Сбор налога. Сдача хлеба. Сдача мяса. Борьба с самогонокурением. Борьба с бандитами. Оказание содействия комитетам бедноты... Мандат — великолепный документ двадцатых годов. Но был документ сильнее всяких мандатов. Это «открытый лист». Важнейшая бумага! Ее выдавал лично начальник отдела уездного ревкома. Только по открытому листу можно было получить подводу. Что-то было в этом открытом листе от старой традиции. Пушкин, Лермонтов, Салтыков-Щедрин и Чехов ездили от почтовой станции до почтовой с отрытым листом, по нему давали лошадей, перепрягали возки декабристов... Села на земле Иркутской тяготели к Московскому тракту, и были живы еще деды, гонявшие почту или обозы... Очень быстро, на зависть, передвигались уездные комсомольские работники там, где были бурятские улусы и хошуны. Буряты не признавали мандатов и открытых листов, отговариваясь незнанием языка. Имел силу... кусок картона, обшитый полотном, обвязанный шнуром, припечатанный сургучными печатями, чем больше, тем лучше, особенно, если еще красными чернилами выписаны четыре креста... Аллюр четыре креста! В любом улусе знали, что такое аллюр четыре креста, и немедленно запрягали самых быстрых лошадей...

Командировочных и суточных уездный работник не получал. Кормили и поили «парю комиссара» в той избе, в которую его ставил сельский Совет. В избе предоставлялась лавка или полати, или пол в холодной горнице с соломой, накрытой рядном, летом — сеновал или бревна на огороде. Будили «парю комиссара» с петухами, кормили похлебкой — «скороваркой» или «драченой» — мятой печеной картошкой. Раз на весь день!.. За один вечер выпивали всю заварку чая и съедали сахар — тогда редкое угощение.

Писал «паря комиссар» при свете лучины. Захваченную из укома бутылку с керосином уездный берег пуще глаз. Самолично, торжественно заправлял «семилинейку» для важного собрания. Радовался свету керосиновой лампы не меньше, чем парни и девчата...

Гостеприимство измерялось не только кругозором «пари комиссара», умением его растолковать обстановку, ответить на «окаянные вопросы», но и его общительностью, скромностью, простотой: ездил уездный в тайгу с парнями рубить лиственницу или за стожком заготовленного сена, пилил с хозяином дрова. Но, бывало, и нередко, привозили в уездный город «парю комиссара» чуть живого, избитого кулачьем до полусмерти, а бывало, накрытого дырявым рядном, замученного самогонщиками...

Уездные приживались... После четвертого приезда обязательно в селе говорили:

— Однако, скажи ты, наш паря-то комиссар приехал...

Шел «паря комиссар» на вечорку или в избу-читальню, докладывал о «текущем моменте», вслух мечтал о будущем, пел песни, а потом тихонько с двумя-тремя комсомольцами исчезал. Чуть поскрипывали сани, похрапывала лошадь, мотая заиндевевшей головой, ледышки забивали ноздри. Уездный с комсомольцами ехал на заимку. На груди греется наган, в шубной рукавице — «лимонка». На заимке гонят самогонку. Бочонками!... Не было злее для комсомола врага, чем самогонщик. И не только потому, что переводило кулачье чудесную пшеницу на зелье, а в хлебе нуждалась голодающая страна, самогонокурение попирало советский закон, а комсомол стоял на страже законов...

В пограничном уезде

Невероятно, но факт. В Иркутской губернии в 1920—1922 гг. был пограничный уезд. На железной дороге, в селах и деревнях стояли погранзаставы, работали пограничные пропускные пункты. Близ границы дислоцировались части Красной Армии. В селах стояли гарнизоны. Селенгинским уездом Иркутская губерния граничила с Дальневосточной республикой. В Селенгинском уезде была Советская власть, а за границей — правило Учредительное собрание. ДВР! В шутку ее называли «довольно веселая республика»... Буферное государство было создано по необходимости, из политических соображений, своеобразный тактический маневр. В учредилке сидели разных мастей эсеры и анархисты, бурят-монгольские националисты, меньшевики. Верховодили же большевики. Председательствовал большевик Голощекин, лично известный В. И. Ленину.

Не по душе забайкальцам была учредилка. Ее не жаловали даже в столице буферного государства, в Верхнеудинске. «Изгонят японцев из Владивостока, установится на Дальнем Советская власть и придет конец учредилки!»

А пока село Кабанск — центр пограничного уезда. Уком наш занят тем, чтобы ячейки РКСМ были начеку, смотрели в оба, а комсомольцы не выпускали из рук винтовок. Недобитое колчаковское отребье, бывшие капиталисты и помещики, разного рода охвостье устремилось в ДВР. Как же, милая сердцу учредилка! К тому же близость к Китаю и Японии... Увозившие золото, драгоценности, оружие избегали погранзастав на станциях Танхой и Татаурово, а пытались перейти границу где-нибудь у неведомой деревушки. Да и с востока пробирались лазутчики, шпионы, мастера саботажа...

В Селингинском укоме—иркутяне. Михаил Флюков—ответственный секретарь, орготдел — Николай Жегалов, талантливейший рисовальщик, и мы с Михаилом Тарасенко, окончившие Военно-политические курсы 5-й Армии и поэтому оказавшиеся в пограничном уезде. Всем укомовским хозяйством ведала иркутянка Шура Воробьева...

В уезде тревожно. Тревожно не только от пограничья, остатков унгерновских и семеновских банд. Косит людей сыпной тиф. И красноармейцев, и крестьян. На дорогах, подстерегая все живое, бродят голодные волчьи стаи. В ту зиму, словно сговорившись, со всего Забайкалья, Джиды и Тунки, с монгольских степей в Селенгинский уезд устремились волчьи стаи. Днем мы ездили с взведенными курками револьверов и винтовок, с гранатами, а с сумерек и ночью жгли на санях... костры или укрепляли горящие факелы. Единственное спасение — огонь. Могли не захватить сено или хлеб, но железный лист с загнутыми краями или старый чугун брали обязательно... Как-то нас, ехавших с разъезда в рано наступивший вечер, обогнали сани, запряженные парой. Ехали военные. Посмеялись они над нашим чугуном, в котором пылало смоченное в мазуте тряпье.

Зря посмеялись. Не доехали военные. Ни коней, ни людей. Перевернутые сани, остатки сбруи, валенок, клочья полушубков...

Забот у укома комсомола много. Одна за другой проходили «недели сухаря». Уезд мясной, рыбный, хлебный. Комиссия помощи голодающим — упомгол опиралась на комсомол. Комсомольцы собирали муку, готовые сухари. Вагонами все отправлялось в Поволжье, на Урал. Укомовцы не вылазили из сел и деревень.

Был у нас необычайный райком — Мысовской. Единственный в своем роде. На колесах, в теплушке. Все мы имели талонные книжки и могли на любое расстояние выписать железнодорожный билет, но поезда проходили переполненные, редко и чаще всего ночью. Это было нам несподручно — села далеко от линии. И райком в вагоне курсировал как луна по небу. Ночью двигался, по мандату прицеплялся к любому поезду, а днем стоял на запасном. В вагон-теплушку собирались комсомольцы, молодежь станции и пристанционных поселков.

Обязательно комсомольцы несли в теплушку — кто полено, кто несколько углей. День и ночь топилась большая чугунная печь, на ней грелся огромный чайник. Комсомольцы приносили мороженого хариуса или омуля на прокорм райкомовцев. Сковороды в хозяйстве райкома не было, да она и не требовалась, о масле и не вспоминали. Пекли рыбу на углях, а чаще всего строгали ножами мерзлую и ели стружку с аппетитом, особенно, если была соль. Пили кипяток и слушали доклады о текущем моменте, о мировой социалистической революции, спорили... Часто сидели без огня... Секретарь райкома на каждой станции выписывал требование на свечи. Требование кладовщик принимал, но свечей не давал... Праздником было, если удавалось заполучить пачку в синей обертке с двуглавым орлом — казенные...

Райком-теплушка выделялся яркими плакатами. Каких только не было... «Вошь — враг революции. Уничтожь!», «Да здравствует мировая социалистическая революция!», «В Поволжье голод! Умирают дети! Поделись! Спаси ребят!», «А что ты сделал для транспорта?!», «Не щади самогонщика!».

Райком прибыл! Вагон-теплушку общими усилиями с главной линии выкатывают на запасной путь. Людно! Райком прибыл и начались купучие дни: субботники, воскресники, «недели», особенно «неделя сухаря», выпуск окончивших ликбез, поездки с концертом и докладом в село, операция по уничтожению самогонных заводиков...

Тулунская, уездная

Неожиданно я оказался в Тулунском укоме... После окончания курсов оставили групповодом губернской партийной школы, так назывались преподаватели истории и политической экономии. В губкоме комсомола стыдили — тебе еще нет восемнадцати лет, а уже записался в старики... Откровенно говоря, скучал по буче кипучей. Шумная, живая комсомольская жизнь влекла больше, чем чтение курса «Типы экономических структур...»

Тулун... Некогда большое сибирское торговое село на Московском тракте. Ворота в Иркутскую губернию... До революции в Тулуне жили купцы второй и третьей гильдий, а первогильдийцы имели филиалы и наезжали из Иркутска, Красноярска, Томска. Строили купцы мучные лабазы и склады, лавки, сооружали каменные дома. Вырос Тулун в годы строительства Великой Сибирской магистрали. Железная дорога проходила близ Тулуна. Подрядчики везли лес, хлеб. И не только... Из Тулуна в Братск пролег большак. У Братска действовали два металлургических завода — Лучихинский и Николаевский. Их тогда называли железоделательными. До революции они принадлежали акционерному обществу «Столль и компания». На заводах плавили не только чугун и сталь, но и катали рельсы. Рельсы везли гужом и сплавляли по Ангаре.

В центре Тулуна высилась паровая мельница с электростанцией. Уезд хлебный, земли богатые. С Украины сюда переселялись целыми селами, а выращивать пшеницу украинцы мастера...

Октябрь начисто вымел купечество из Тулуна. Летом 1922 года Тулун горел. В сильный ветреный день занялась огнем мельница, и город выгорел, осталась окраина. Школы перевели в село Куйтун. Уездные организации и учреждения ютились в небольших домах. Московский тракт после строительства железной дороги захирел. Тащиться в Иркутск за четыреста верст кому охота! Лучихинский и Николаевский железоделательные заводы стояли под консервацией, занесенные снегом, оставшееся оборудование ржавело. Рабочие разъехались, остались сторожа да старики, жившие огородами... В концессию бывшие столлевские заводы никто не брал: железной дороги к ним не было, а по Ангаре — очень уж кратким по времени был сезон. На восстановление заводов нужно было по крайней мере два-три миллиона рублей... Лучихинские комсомольцы да Братский райком могли только мечтать...

Единственным промышленным предприятием в уезде были Велистовские копи. В хозяйственном отношении они подчинялись Черемхово. Комсомольская ячейка наша была не очень многочисленной, но крепкой. Единственной стройкой было строительство железнодорожного моста через реку Ию. Строили мост молодые ребята из трудоармейцев, боевые комсомольцы.

Молодежи в Тулуне было много, но занять ее чем-то большим мы не могли. Работали ребята у кустарей, шили сапоги, катали валенки, варили мыло, служили в пожарной, в учреждениях... На весь город одна ячейка, прижившаяся в Народном доме...

В начале 1923 года уком возглавил Иван Стробыкин, высокий, стройный парень, белозубый ярославец, чудом попавший в Тулун. Горожанина, рабочего парня тянуло к заводским, к шахтерам... Деревней занимались мало. Приехал Николай Федоров, первый председатель и вожак черемховских комсомольцев, сам из шахтеров, хорошо знающий деревню, и уком повернулся лицом к селу...

Партийных ячеек в ту пору было мало, разве только в волостных центрах, да и были они не очень многочисленны. Вся тяжесть проведения различных кампаний ложилась на комсомол. Кампаний великое множество и, главным образом, они проводились зимой. Основной работой комсомольцы считали борьбу с самогонокурением. Уком оценивал деятельность ячейки по числу уничтоженных самогонных аппаратов и вылитых ведер сивухи.

После самогонщиков врагом комсомола считалась церковь. К духовной сивухе комсомольцы относились со всей непримиримостью и нетерпимостью. Церковь преграждала деревенской молодежи путь в комсомол. Родители старались удержать парней, а особенно девушек, поддаваясь агитации священников. Развертывались битвы... Сколько энергии, выдумки вкладывалось в комсомольское рождество или комсомольскую пасху! Кто кого? Конечно, больше по душе были «революционные» методы: закрытие церквей, «молебствия», «комсомольские ходы» с карикатурами, прочие шумные деяния. Были и настоящие методы, действительно революционные: диспуты, дискуссии, антирелигиозные вече-

ра с участием учителей. Но они были на втором плане. В Тулун съехались семьи священников, лишенных приходов: Успенские, Синявины, Макушевы, Красиковы... В семьях духовных начался разлад. Вчерашние семинаристы и епатриархалки порывали с родителями, шли в комсомол. Управделами в укоме был бывший попович Михаил Макушев, великолепный певец, знаток службы. Связи у него были обширные... Антирелигиозные комедии шли у нас на высоком уровне. Облачение и утварь самые настоящие. Приезжих потрясал отличный хор со всем великолепием певший ядовитое на церковные мотивы. Менее смелые поповны и поповичи шли в драматические коллективы — русский и украинский.

Вечерами Народный дом никогда не пустовал. Спектакли русского коллектива чередовались с украинским. На сцене шли пьесы Островского, Чехова, Горького, шли с успехом «Каширская старина» и «Василиса Мелентьева». Украинцы ставили «Наталку-Полтавку», «Назара Стодолю», «Запорожца за Дунаем»... Жена расстриженного дьякона Анна Старцева ставила спектакли для детей. Не отставал комсомол... Пушкинские, некрасовские, лермонтовские вечера. Вечера спорта: борьба, атлетика, гимнастика. Однажды комсомольцы сыграли оперетту Сумбатова «Иванов Павел». В городе случайно оказался артист оперетты, он и поставил музыкальную комедию. «Иванов Павел» долго не сходил со сцены, его возили в Куйтун, Братск. Он помог нам собрать солидную сумму на строительство воздушного флота.

Комсомольцам по душе пришлась организация Общества добровольного воздушного флота. Все, буквально все, стали членами и активными сборщиками средств. Военное дело тулунцы вообще очень любили... Все были бойцами 3-го батальона ЧОНа, несли гарнизонную службу, по сигналу тревоги выезжали на ликвидацию банды. Батальоном командовал известный партизан Василий Уланов. В Тулуне жили партизанские комдивы Николай Бурлов и Николай Дворянов. В наряды вместе с комсомольцами ходили председатель ревкома, его заместители, руководители отделов...

В связи с нотой английского премьера лорда Керзона тулунские комсомольцы выполняли особое задание. Разъехались они по селам и деревням с мандатами, требовавшими безоговорочного содействия. Комсомольцы опрашивали крестьян, составляли акты о злодействах и ущербе, причиненных крестьянам Тулунского уезда интервентами и белогвардейцами, обсуждали на сельских сходах. Это очень подняло комсомол в глазах крестьян. Нравилось, что комсомольцы тщательно разбирались, высоко ценили крестьянский труд. Сумма ущерба оказалась значительной, составляла по уезду сотни тысяч рублей.

Неведомыми путями в Тулуне оказалась типография с небольшой печатной машиной и скромными запасами шрифта. Газеты в уезде не было по одной причине: бумаги едва хватало для выпуска губернской «Власти труда». Однажды, весной, родилась мысль — издать сборник «Красные годовщины». Событий немало... Сто пять лет со дня рождения Карла Маркса, семьдесят пять лет «Коммунистического манифеста», пять лет Красной Армии, пять лет РКСМ, День работниц 8 марта, Парижская коммуна... Вышел сборник «Красные годовщины». Наверное, тиражом не больше ста экземпляров.

В уездном Иркутске

Осенью в уездах проходили комсомольские конференции, избиравшие укомы. Как ни хотелось еще пожить в Тулуне, пришлось уезжать — избрали в Иркутский уком...

Секретарем укома у нас Костя Жарников, член президиума губкома, энергичный, горячий, беспокойный, как говорится, с сумасшедшинкой, неутомимый выдумщик. Николай Амгейзер, спокойный, флегматичный усолец, ведал отделом экономически правовым, мотался неделями по заводам и фабрикам. В ведение моего отдела политпросветработы входили агитация и пропаганда, физкультура и спорт, пионерская организация.

...Еще осенью Косте Жарникову пришла мысль — организовать выставку изделий комсомольцев и рабочей молодежи. Видно, оставила неизгладимое впечатление Первая всероссийская сельскохозяйственная выставка. О ней много писали и рассказывали. Костя Жарников загорелся. Он не спал сутками, мотался по заводам и фабрикам... И вот — в Детском дворце открылась выставка. Свезли на нее «дела рук комсомольских»... Чего только не было! Потрясало изобилие чернильных приборов. Один лучше другого... Радовали мастерски изготовленные инструменты, вещи из дерева. Шубы, сапоги, валенки не в натуре, а в моделях... Бумага, спички, соль, слюда... Алело полотнище «Владыкой мира будет труд»... Выставку одобрила конференция, маратовские и городские комсомольцы. Костя Жарников на похвалу щедро отвечал... подарками. Скоро от выставки ничего не осталось.

Есть такой город — Зима!

В морозное февральское утро в дверях появился в заиндевевшем полушубке Костя Жарников.

— Потопали в губком! На президиум... Опаздываем!..

Как ни быстро мы бежали, а опоздали. Президиум заседал. Докладывал военный, молодой, комсомольского возраста, в новенькой с иголочки, стального цвета гимнастерке, с черными бархатными разводами, на рукаве погон со звездой и ромбом. Новый помощник начальника политотдела по комсомолу. Нужны комсомольские политические работники в военкоматы. Допризывники. Призывники. Бойцы территориальных дивизий. По должности комсомольские работники будут первыми помощниками уездных военкомов. Коротко будут называться — уполиторганизаторами. Все мобилизуемые зачисляются в кадры Красной Армии, получают комиссарское содержание, обмундирование и красноармейский паек. На рукавном погоне первый помвоенком может носить четыре кубаря и называться «товарищ комполка»...

В помощь помвоенкому-уполиторганизатору укомы РКСМ назначают политруков. Помвоенкома входит в президиум укома и заведует вонным отделом.

Представитель политотдела ВСВО и губернского военкомата называл фамилии мобилизуемых и военкоматы, куда они направляются. Против моей фамилии стояло — Зиминский... Товарищ с ромбом чему-то рассмеялся и сказал:

— Есть такой город — Зима!..

Было то время, когда у мобилизуемого не спрашивали согласия или желания — они подразумевались. Не задавал вопросов и мобилизуемый. Надо — значит еду... Кому же хотелось в случае отказа прослыть шкурником. Самое позорное, черное, самое неприглядное, резавшее ухо больнее, чем слово дезертир—шкурник. Оно содержало в себе эгоизм, трусость, обывательщину, предательство, дезертирство. Шкурника немедленно исключали из партии и комсомола, окружали презрением. Время! Время боевое, трудное... Острили когти империалисты... Главным заветом только что ушедшего Ленина было хранить республику Советов, крепить оборону, быть начеку.

...Видно, подходил — окончил военно-политическую

школу, работал в пограничном уезде, состоял в ЧОНе... А по душе больше была пионерия... Детская коммунистическая организация юных пионеров только вставала на ноги... После разгона бойскаутов и герлс-скаутов, прикрывавшихся именем пионеров, после роспуска находившегося под эсеровским влиянием детского и юношеского кооператива «Молодая жизнь», комсомольские работники увлеклись детской коммунистической организацией. Ребята, подростки, рвались к активной политической жизни. Внучата Ильича!.. Маратово, Слюдянка, Усолье заявили себя как лучшие ДКО... Уезжать не хотелось...

Зима! Станция, депо, заводской участок, лесозавод на Оке и маленький, одноэтажный городишечко, где самое высокое сооружение — пожарная каланча. Собственно, городская организация и представляется ячейкой РКСМ при пожарной части... Других предприятий нет. Комсомольцы депо и станции подчиняются непосредственно укому... Уезд большой, трудный...

С повестки дня укома не сходит вопрос о борьбе с бандитизмом. Банды бродят по уезду. Особенно нагло ведет себя банда Замазчикова в Заларинской волости. Волость богатая, хлебная, таежная. Кроме Замазчикова, терроризируют население банды Чернова, Развозжаева, Донского, Сенотрусова. Ликвидацией банд занимается уездная Чека, основа ее, сила — комсомольцы. Они не слезают с коней неделями...

В укоме сильный народ. Ответственный секретарь Сергей Матушкин, коммунист, опытный организатор. Его любят комсомольцы-активисты. Деповские окружают уком, являются его опорой. Бывалый Вадим Принцев — с опытом военной работы — острый, принципиальный. Из зиминцев — Петр Кияшко, Леонид Подаюров. Селом занимается середняк из села Ботамы Степан Бондаренко. Дружный, слаженный коллектив...

Слаженно действуют уком партии и уком комсомола. Все направлено в одну точку — ограничить и обуздать кулака, не дать ему власти над середняком, поддержать бедноту и батраков, как самую революционную силу. Банды живут и действуют потому, что их кормит, одевает, бережет кулачье.

Кончина В. И. Ленина, а его по-настоящему любила и ценила деревня, приблизила бедняков и середняков к партии. Жадно ловилось каждое слово о Ленине. В Зиме сколотилась сильная комсомольская пропагандистская группа. Руководил ею Михаил Плешаков, заведующий отделом агитации и пропаганды, из учителей, партиец с 1917 года. Толковый, образованный марксист, умевший сливать в одно целое ленинскую теорию и практику.

Банда Замазчикова забросала гранатами избу-читальню в селе Холмогое. Погиб политрук призывников Иван Максимов, отважный комсомольский вожак. Умерла от тяжелейших ран избач Маруся Таболова. В больницах лежали раненые комсомольцы и комсомолки. В одной из схваток погиб Иван Григорьев, деповский комсомолец. Терроризовать Заларинскую волость банде не удалось... Комсомольцы загнали ее в глубь тайги, оторвав от кулацких заимок.

Тон всему в Зиме задавали деповские. Еще до Октября, пожалуй, с первой русской революции, в депо существовала большевистская партийная организация. В годы колчаковского ненастья зиминцы активно действовали, к деповским тянулась молодежь. Комсомольцы отвоевали небольшую церковь на станции Зима, оборудовали хороший клуб. Деповские были зачинателями новых обрядов: октябрины, комсомольские свадьбы... Новые обряды, а их проводили торжественно и празднично, перенимали и сельские комсомольцы...

Давала свои плоды военно-политическая работа комсомольцев. К волостям-ротам были прикреплены городские комсомольцы-активисты. На сборы вызывалась батрацкая, бедняцкая и середняцкая молодежь, месяц-другой парни жили в волостном селе, проходили военную и политическую выучку. Постоянно работали Народные дома и клубы, избы-читальни. Бойцы территориальной дивизии и призывники вступали в комсомол и в деревни возвращались совершенно другими. Правда, изоляция кулацких сынков приводила к тому, что кое-кто уходил в банду, но они уже не верховодили в селах...

Прошла первая массовая демобилизация из Красной Армии и по-настоящему организованный призыв молодежи. Комсомольцы на станциях Черемхово, Залари, Зима, Нижнеудинск создали агитационные пункты, пункты питания, устраивали встречи проезжающих с Дальнего Востока демобилизованных красноармейцев и моряков, провожали призывников. Гремел комсомольский оркестр депо.., Действовали агитаторы. Это было необходимо... С Владивостока ехала морская вольница. Трудно приходилось шефам морского флота— комсомольцам. Необходимо было оторвать настоящих моряков от анархиствующей головки... И это удавалось.

Территориальные дивизии, сыграв свою роль, вскоре перестали существовать, передав кадры командиров регулярным частям. Можно было по-настоящему заняться пионерией, требовавшей умелых партийных руководителей. Ребята быстро росли, активизировались, перерастали вожатых. В зиминском укоме партии, его секретарем был тогда Ф. Ф. Остренко, непосредственно занимались Детской Коммунистической организацией, мобилизовали группу коммунистов на работу среди детей... Развертывалась борьба за коммунистическое воспитание подрастающего поколения.

Зима показывала для губернии пример организованности и массовости этой новой общественной силы...

Наша Лена

Лена! В это красивое женское имя комсомольцы 20-х годов вкладывали многое — одна из величайших и красивейших рек земного шара, украшение планеты, часть земли Иркутской, нашенской, золотая ее часть, и, конечно, событие на Лене, потрясшее планету—4 апреля 1912 года—расстрел царем ленских рабочих... Очень далеко была золотая Лена, но в Иркутском губкомоле, в Сибирском бюро ЦК комсомола, в самом ЦК РКСМ о Лене знали, постоянно заботились. Лена добывала для молодой советской республики золото. Золото это и хлеб, и машины, и медикаменты. Золото — это независимость...

Мне сказали:

— Ехать тебе на Лену! Ехать с первой же почтовой оказией, как только откроется зимний путь. Можешь считать себя бодайбинцем. Конференция избрала тебя в райком, а пленум утвердил председателем районного бюро юных пионеров... Готовься!

Секретарь губкома Федор Гамп вызвал управделами и часа два с ним считал... И дорог и далек путь на Лену! Обычно на золотую Лену смена работников направлялась с открытием летней навигации, с первым или вторым пароходом. Так приезжала член ЦК РКСМ Евгения Герр, та самая первая и единственная девушка в делегации первого съезда комсомола, побывавшая на приеме у В. И. Ленина. Так уехал на Ленский прииск Сергей Матушкин. Так ехали по путевкам ЦК комсомола и Сиббюро...

Бодайбинцы требовали:

— Не задерживайте нашего! Не потерпим!..

Действительно, до летней навигации оставалось семь месяцев...

Путь сибирский дальний... Губком приобрел барнаульской выделки полушубок, иркутскую доху, заказал на пимокатке тяжелые валенки... На рассвете декабрьского морозного дня на почтовой тройке с колокольцами, кое-как устроившись на огромных кожаных мешках, заделанных цепями, отбыл на Лену заместитель председателя губернского бюро ДКО юных пионеров. Декабрь сменился январем, январь февралем, а почтовая оказия двигалась на север... Через каждые двадцать — тридцать верст менялись лошади, почтовики обрабатывали почту, вскрывали, гремя цепями кожаные мешки. Почтовая оказия двигалась и днем и ночью... Ямщики менялись. Одни с шиком и гиком «Караул, грабят!» свергались с берегов на Лену — единственную дорогу, другие с какой-то торжественностью важно съезжали с сельской улицы на реку, сдерживая рвущихся коней. «Государевых ямщиков» не было. «Почту держали» зажиточные мужики. Конечно, сами они на облучок не садились, нанимали батраков...

...Пермь, город на Каме, поставляет ныне золотой Лене драги... Их на золотых приисках действует 15! Как-то я разговорился с инженером завода имени Ленина Николаем Гашковым. Слетал он на Лену, на прииск Светлый... И десяти дней не прошло—вернулся... Из Перми самолетом до прииска Светлого, даже без остановки в Бодайбо!..

В 1925 году Ленские прииски увидели в небе самолет... Его месяц ждали из Иркутска. Везли самолет на машинах, погрузили на баржу, потом на палубу парохода... Неделю собирали самолет на пустыре за депо... «Сопвич» двухместный поднялся, перелетел горы и сел около Александровского прииска... Это было тогда исключительным событием. Свою признательность горняки выразили тем, что в воскресенье спустились в шахты и отработали в фонд советского воздушного флота... Сдали несколько пудов золота...

Сейчас «почтовая оказия» по воздуху доставляет мне письмо с Лены на четвертый день...

...Напрасно Ленские прииски по всему тысячеверстному пути называли «нежилым местом», пугали, что нет жизни «на отшибе»... Жизнь на Лене была не менее кипучей. Пожалуй, сильнее чем в «жилом месте» ощущались дружба, спаянность, коллектив или, как часто говорили, — артельность... Вне артели на прииске не проживешь.

Бодайбинская молодежь к золоту относится с холодком, не идет золотишничать, тяга у нее на железную дорогу, в депо, мастерские, на пути... Самая крепкая и работоспособная, самая многолюдная ячейка — железнодорожная. Ее ядро слесари, токари, электрики, ремонтники, плотники, столяры, помощники машинистов и кочегары. Задорная комсомольская ячейка в Горнопромышленном училище треста Лензолото. Это будущие механизаторы приисков: слесари, токари, мотористы, механики. Рабочее ядро! В городской ячейке — служилая и учащаяся молодежь...

Приисковой молодежи в комсомоле маловато. Золото есть золото. Лена — не Клондайк, джек-лондоновских героев — золотоискателей нет, но все же манило с «жилого места» именно золотишко: одни — хорошо заработать, найти фарт и поправить дело, вернувшись в города и села, другие — с большим заработком пожить весело-вольготно... На Лену пробирались спекулянты-скупщики, спиртоносы, картежники... Комсомольская организация с первым снегом начинала вытравлять у молодежи дух золотишничества, прививать черты революционного горняка. Было очень трудно... От 1912 года оставалась не только память об апрельских днях, потрясших мир, оставались старые приисковые барачные поселки, оставалась та же «выписка», то есть паек, получаемый от приискового управления. Барачный быт затягивал молодежь в пьянство. Строили на приисках очень мало. Только клубы... Не стало в шахтах штейгеров и приказчиков, строго соблюдался рабочий день, но условия труда и методы добычи золота были прежними... Даже «выносили» из шахты «золотишко» чаще всего под языком или за щекой. «Мыли» золото во рту и комсомольцы... На первом плане поэтому — борьба с хищением золота. Считали тогда на золотники и доли... Все до песчинки — в казну, рабоче-крестьянскому государству!..

В 1925—26 годах в Бодайбинском райкоме комсомола работал Борис Булыгин, москвич, бывший конник, весельчак, прекрасный товарищ, партиец. Он тонко понимал запросы горняцкой молодежи и комсомольцев, вносил глубину и серьезность в любое дело, затеваемое комсомолом; Александр Митрошин ведал политической работой среди молодежи, ленинградец, из карелов, живой, энергичный, неутомимый выдумщик; Михаил Хитрихеев, из обрусевших якутов, отлично знавший жизнь молодых горняков. Экономическо-правовой работой занимался Семен Замаратский, кочегар, с Апрельского прииска, секретарь ячейки, грамотный и толковый парень. Приехал «на золото», но быстро вылечился от «золотой горячки». Учительница Шура Бобрякова с Артемовского оказалась замечательным пионерским работником. Приехала она на Лену откуда-то из-под Киренска учительствовать, но потянулась за комсомолом. Среди учителей комсомольцев тогда было очень мало. Управлял делами райкома зиминец Аркадий Листратов, флегматичный, очень уравновешенный человек. Комсомольские работники, следуя традициям двадцатых годов, жили коммуной, вернее артелью... Общими были жилье, стол, забота друг о друге...

На Ленских приисках встретился с М. Г. Плешаковым. Он руководил агитацией и пропагандой, по-прежнему вокруг него крутилась молодежь, с нескончаемыми диспутами и дискуссиями. Летом его неожиданно отозвал губком партии. Приехал Илья Цыганков, из первых российских комсомольцев. На следующий год Цыганкова, заболевшего, заменил Федор Константинов. Он очень был близок к комсомолу, жизнерадостный москвич и отличный оратор. Он даже жил во флигельке комсомольской коммуны. Сейчас Федор Константинов, крупный ученый философ, секретарь-академик отделения философии Академии наук СССР... И для него жизнь на золотой Лене осталась одной из самых ярких страниц жизни...

В Бодайбо выходила единственная в губернии, кроме «Комсомолии» — органа губкома ВЛКСМ, газета «Комсомольский набат». Редактировал ее Саша Калашников, необычайно влюбленный в журналистику, умевший вовлечь в корреспондентскую деятельность райкомовцев. Бумаги в Бодайбо не было, каждый листок на строгом учете, но Калашников делал все, чтобы выходила газета.

Первым делом комсомола на Лене была защита прав рабочей молодежи: дать парню работу, охранять его труд, жизнь и быт. Другим — учить, образовывать, воспитывать. Комсомол был связывающим звеном между молодежью и клубами... На клубы богатейший профсоюз не жалел средств. Клубы им. 4 апреля, им. Артема, им. Ленина — отличались необыкновенной массовостью и разносторонностью. Руководили клубами люди знающие, опытные. На приисках Ленском, Чанчике клубом ведал Петр Дребезгов, один из организаторов петроградского комсомола, чекист, великолепный массовик, посланец ЦК партии. У него была отличная «Синяя блуза», «Массовый театр — оратория», хор, драматический коллектив, оркестр... Не уступал на Апрельском Лев Кайранский, комиссар флотилии, при-

ехавший на крупную хозяйственную работу, но не поладивший с администрацией.

Лев Кайранский проявил себя недюжинным режиссером. Апрельский (или Надеждинский) прииск — средоточие интеллигенции. Здесь находилось управление приисками со всеми отделами и конторами. Среди инженеров и служащих, врачей (а они находились на службе треста Лензолото) было много талантливых музыкантов, певцов, актеров...

Культурной жизни придавали кипучесть две труппы. В самом Бодайбо, в старом деревянном здании держал антрепризу крупный актер и режиссер Дубов. Он привез из Москвы ядро больших мастеров сцены и привлек лучших из самодеятельности. Райком профсоюза горняков завез на сезон из Ленинграда артистов оперетты. Музыкальную комедию создать не удалось, но клубная сцена увидела впервые высококвалифицированных артистов. На клубной сцене шли отрывки из оперетт.

Молодежь приобщалась к культуре. Ячейки в полном составе посещали театры и клубы...

Налаживалась настоящая жизнь... Оживали старые прииски, разрабатывались новые месторождения золота — Светлый.... Всячески пытались облегчить труд горняков, придумывали водоотливы, проветривание штолен, тщательно оборудовали спуски и подъемы, отменили в пайке-выписке обязательную водку, завезли спецовку, кожаные сапоги. Но отставала на прииске механизация золотодобычи. Вслух на Лене мечтали о драгах. Много золота было на дне рек и речушек. Поистине золотым дном была речка Бодайбинка... Ничего Лензолото, находившееся в Москве, предложить не могло... И вдруг — новость! Ленские прииски сдаются в концессию бывшей компании «Лена-Голдфилдс лимитед». Новость встретили по-разному — часть администрации, инженеров, бывшие штейгера — с ликованием, другая — с выжиданием. Комсомол встретил с горечью и обидой. Зря! Пришлось втолковывать комсомольским работникам необходимость. Иного выхода механизировать и увеличить добычу золота не было. Слишком много, как тогда говорилось, нужно заплат, чтобы полностью восстановить промышленность России и создавать новую...

«Лена-Голдфилдс лимитед» честно обещала в договоре — ввезти драги и насосы, машины и станки, строить новые шахты и расширять старые, золото сдавать Советскому государству, улучшать быт горняков. ...Прошло несколько месяцев и все убедились — концессионеры, бывшие хозяева Лены, словно задались целью уничтожить прииски, сравнять все с землей — демонтировали оборудование и вывозили, сносили отличные дома и топили ими бараки, свертывали золотодобычу. Хваленая драга так и не шла из Англии. Райком партии и райком комсомола выехали с прииска в Бодайбо. Концессионеры всячески противились политической работе на приисках. Сгорел клуб на прииске им. 4 апреля... Начались перебои в выплате заработанного. Задерживали на недели, месяцы. Возникла тревога — концессионеры почти ничего не завозят в навигацию... Настороженность перерастала в нетерпимость. Все чаще и чаще возникали разговоры — проучить бы чертову концессию, ударить ее по рукам... Никакие увещевания, письменные представления не действовали. Сэр Кригер все отправлял в Лондон, а Лондон не торопился объясняться с Главконцескомом. Особенно возмущало хищничество... Концессионеры ни в чем не уступали самым жадным старателям.

Воочию комсомольцы Лены увидели капиталистов и вступили в открытую борьбу, в классовую борьбу. Районный комитет профсоюза горняков Ленско-Витимского горного округа с разрешения Советского правительства объявил забастовку... Райком комсомола ввел в забастовочный комитет своего представителя.

Забастовка проходила организованно. Правительство взяло на себя заботу о забастовщиках, их семьях. Дело о нарушении договора концессией «Лена-Голдфилдс лимитед» было передано в Международный суд...

...Молодежь не хотела зря получать деньги, уезжала в «жилое место», только небольшая часть уходила в старательские артели и на стройку новых шахт. Комсомольцы ехали в Иркутск, Москву, Ленинград на учебу, чтобы вернуться на прииски, когда от концессии не останется следа...

Английский рабочий класс был восхищен выдержкой рабочих Лены, их сознательностью... В тот год в Англии вспыхнула всеобщая забастовка горняков. Не один пуд золота внесли рабочие Лены в фонд помощи своим английским товарищам. Среди самых передовых были, конечно, комсомольцы и горняцкая молодежь...

...На Ленских приисках довелось мне распрощаться с трудным, но очень почетным и интересным званием уездного комсомольского работника. На Ленских приисках меня проводили с комсомольской работы. В двадцать два года была пора передачи эстафеты... Секретарем райкома комсомола ленских приисков стал Семен Замаратский, бывший кочегар котельной на Апрельском прииске...

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Уже стало традицией раз в два года проводить конференцию „Молодость, творчество, современность“. И каждый раз, когда собираем мы—обком комсомола и творческие союзы—изо всех концов области людей одаренных, интересных, нас больше всего радует творческий рост тех, с кем мы познакомились и подружились на прошлых конференциях, и, особенно, появление новых имен.

Вот почему я рад представить сегодня читателям „Ангары“ молодых поэтов, участников семинара, проведение которого было на этот раз посвящено 50-летию нашего комсомола. Каждый из них пишет о своем. Все вместе—они рисуют в стихах сложный и многообразный образ нашего молодого современника.

Анатолий Соловьев, секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ.

Юрий АКСАМЕНТОВ

МОНОЛОГ

Не зря когда-то выдумали рай —
Пустое небо — как застывший ужас.
Но сколько человек ни умирай,
Земля дороже рая, хоть и хуже.
С нее, такой греховной и родной,
Приятно устремить свой взор в пучину,
Вообразить, что в тверди неземной
всех радостней твоих первопричина.
А то, что ты мотыгой и кайлой
На скудной почве доискался хлеба,—
Лишь тайный знак в твоей судьбине злой,
Что в будущем ты не лишишься неба.
Пустынножители, пророки, мудрецы,
вы пили из глубокого колодца...
Но тот из вас, смиреннее овцы,
Он до сих пор не устает — смеется.
Он не поверил в выдуманный рай,
Ни идолам, ни богу не молился,
Обтесывал он камни — к краю край,—
Ковал металл и сеял рожь — трудился.
И если бы догматы мудрецов
Не стали полем войн, межой раздора —
По всей земле б настроил он дворцов,
От Гибралтара и до Лабрадора.
Вам не пришлось бы рай передвигать
В пустынные космические выси...
Да, по душе те выдумки пришлись вам,
Но не мешайте молоту ковать!

ДИОГЕН

Солнце жгло и палило
и знойная марь
Над землей раскаленной дрожала.
Вылез я из-под бочки,
зажег свой фонарь
И к глазам его поднял устало.
Тут толпа собралась,
засмеялся народ,
Зашумел, закричал что есть силы:
«Посмотрите, зажженный фонарь
он несет,
А на небе сияет светило!
Он безумец, наверно,
бери его прах!
А бровищи-то! — Тучей нависли!»
Я глядел на людей
и не видел в глазах
Ни одной человеческой мысли.
Вышел тут из толпы
в одеянье худом,
На костыль опираясь, калека:
«Ты зачем среди дня
бродишь здесь с фонарем!»
Я ответил:
«Ищу человека».

Леонид **АНДРЕЕВ**

●

Расщепив и покоряя атом,
Путь открыв в простор иных миров,
Человек становится гигантом,
Головой поднявшись до богов.

Но недаром с газовой атаки,
Бойней начался двадцатый век.
Ужас Хиросимы, Нагасаки
Повторишь ли снова, человек!

Иль навек сметет с земли народы
Смерти огнедышащая пасть!
Оттого, что покорив природу,
Над собой ты потеряешь власть.

В ТЕЛЕГЕ

Опять как в годы золотые...
А. Блок

Опять дорога полевая
Мой сон колышет наяву.
Да спуск в овраг. Да лес у края
Полей ушедших в синеву.

Опять скрипучие колеса
Ведут веков далеких быль.
Да легкий ветер на колосья
Относит поднятую пыль.

Какая ширь! Печаль какая.
Вдали от всех больших дорог
Ты мне мила, страна родная,
Как с поля светлый ветерок.

И нудно тянется дорога.
Что там мелькает впереди!
И сердце древнюю тревогу
Забило трепетно в груди.

Как будто посвист печенега
Мне ветер из степи принес...
Скрипи, скрипи, моя телега,
Твой сказ не кончил паровоз.

Мария **БАРАНСКАЯ**

●

Улетел.
А я осталась.
Дождь и снег смешались в лужах.
Сколько ждать еще осталось!
Ты мне нужен, слышишь, нужен!
Ну вбеги, ну хлопни дверью,
Каплей радужной, продрогший,
Нашепчи свои поверья,
Мой озябший, мой промокший,
О мой солнечный, мой рыжий!
Я тебя во ржи сыскала,
Под корявой старой вишней
Ворожила, колдовала.
Напоила диким медом
Не уйдет теперь, не встанет.
Крепким зельем приворотным
Веки сон твои дурманит.
Только, знать, не удержала.
Разметавшейся косынкой
Понапрасну побежала
По дождинкам, по слезинкам.

А после юноши мужали.
Князь вызывал старейших в круг
Проверить остроту кинжалов,
И меткость глаз, и твердость рук.
Взбухали по весне дороги,
И на дождях сходился свет,
А старики мудры, как йоги,
Держали воинский совет.
Князь был хитер, он звал на запад.
Хоть спорь не спорь, как черт, упрям,
Его вздурманил вербный запах
И солнце, зревшее в полях.
В чужой земле темны рассветы,
Звенит беда из-под копыт,
А князю виделись победы,
В ворота вбитый русский щит.
Восславен будь! Дымят руины.
Но со стены укравши щит,
В нем женщина качает сына,
Чужие сказки говорит.

Петр **ПРИХОЖАН**

●

Над житейской кручей
поднимусь упрям,
подарю я тучу
четырем ветрам.
Пусть поделят ветры
эту тучу поровну,
пусть растащат тучу
на четыре стороны:
чтобы
в первой стороне,
где мороз трескучий,
белым-белым снегом —
белым оказалась туча;
чтобы
сторону вторую
солнце палило,
чтобы тучу на поля
ливнем
свалило;
чтобы,
в третьей стороне,
по лесным полянам
оседала туча
утренним туманом,
чтобы звери
тучу
языками лакали.
...Осталась четвертая —
дальними облаками:
ни дождя из нее,
ни снега,
ни туманом она
не ложится.
И трем ветрам
не ужиться
без четвертого.
Дело чертово,
четыре ветра
и туча
На радость ли!
на беду!
...За четвертым ветром
сам уйду.

●

Загорелась тайга;
по осинам взбирается пламя,
одичалые сосны,
спасаясь,
бегут под откос...
Этот лес завтра срубят.
Гуляет последняя осень,
откупаясь от смерти,
червонной листвою берез.

В. ГУБИН

УТРО

Дикие утки,
море,
плес.
Тихо, свежо и пусто.
Бьет дурманяще
в горло и нос
запах морской капусты.
Ровно и сладко
сопит залив.
В сонную моря лень
молча бредет
богатырь-отлив,
медленный,
как тюлень.

БЕЛЫЙ БУБЕН

Здесь ветер бродит,
как рыба в бреднях.
Пурга шальная
бубнит, шаманит,
в распадках рыщет —
кому-то крышка!
...А ты мне пишешь,
у вас затишье,
живешь как прежде,
легко, красиво...
Тайга безбрежна,
но не всесильна:
внизу под снегом
теплеют норы.
А здесь бессменно
лютуют норды,
и в белых соснах
хохочет бубен,
как будто вовсе
весны не будет.

Яков КРОМ

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

Осень в городе —
это желтые пряди листьев
на выбритом лице
асфальта.
Осень в городе —
это опустевшие
речные трамваи,
светящимися челноками
снующие по Ангаре
и ткущие
на ее черном полотне
последний орнамент
знакомой мелодии.
Осень в городе —
это твои печали.
Осень в городе —
это чей-то смех.
Осень из города
скоро отчалит
и поплывет
над городом
снег.
Осень в городе!
Не надо заклеивать окна!
Раскройте настежь!
Слышишь, слышишь!
Шаги.
Осень в городе —
Дождя волокна,
дождя,
пришедшего из тайги.
Осень в городе!
улыбнитесь,
гулкие капли
руками ловя!
Осень в городе
в мокром свитере.
Осень в городе —
это я
сижу на ветру
в сквере
и дописываю
намокающую
страничку...
Осень в городе...

СЛОВО

Я уйду за синий перевал,
забреду в брусничные
поляны...
Мне б найти особые слова,
те, что люди где-то
потеряли.
Хоть одно!
Пусть в клочья изорвусь,
но найду!
пускай не верит кто-то.
Словно пахнущий
сосновый брус,
прочно врежу
в старый сруб блокнота.
Пронесу по всей тайге,
как клич,
напишу еще раз, снова,
снова,
слово к слову
положу на лист
и уйду в леса, в тайгу
за новым словом.

Валентин УРУКОВ

УТРО

Опять повеяло прохладою
От синевы оконных рам
И прочно заморозки падают
На тротуары по утрам.
Сверкают инея кристаллики,
А тополь одинок и сед,
Как мой задумчивый и старенький,
Неразговорчивый сосед.
Глядит малыш
Сквозь стекла росные,
Как мать торопится в жилье
Внести с веревки между соснами
Жестяным ставшее белье.
А в город едут, едут саженцы,
Гурьбой из кузова торчат,
И тополю наверно кажутся
Веселым выводком внучат.
Их словно девушек на выданьи,
Ревниво город сторожит,
И оператор телевиденья
Заснять на пленку их спешит.

В КОМАНДИРОВКЕ

От такого шалого мороза
Воздух стал туманно-голубой.
Не дымы, а белые березы
Выросли над каждою трубой.
Кашляют прокуренно мужчины,
Выйдя из бараков после сна.
Забралась в седой тулуп овчинный
У поселка каждая сосна.
Что ж, они придумали неглупо,
Зимние традиции храня,
Только жаль — овчинного тулупа
Нет ни у тебя, ни у меня.
Нам сегодня на попутных снова,
Одолев ночлег, как перекат,
В государство ведомства лесного,
В царство малых комплексных бригад,
Где кедровки разнесли по кронам,
Что работа не завершена,
Что лежит заряженным патроном
Меж стволов сосновых тишина.

Валерий СКРИПКО

МАРТОВСКАЯ БАЛЛАДА

Когда земля
смирила шум и гам,
Усталый снег,
подкараулив полночь,
Как блудный сын,
упал к ее ногам
И до утра раскаивался —
Помнишь!
Он говорил, что холоден и зол,
Что гаснет взор
И путь
порядком
прожит.
И вот весна
откликнулась на зов,
Пришла согреть,
как женщина
лишь может.
Валился снег, коробился горбом
И ждал,
И ждал,
как юноша в семнадцать,
Молился снег,
желая быть рабом
И существу
земному
преклоняться,
Как блудный сын,
объятьем вознесен, —
Забыл себя,
неповторимость сути.
И от тепла подаренного он
Сошел на нет,
расстаял через сутки.
А весны шли
надменны и ничьи
уже других одаривать глазами.
И ручейки бежали,
и ручьи
Вдруг по щеке оттаявшей сползали.
В другую ночь
опять валился снег
Смешались с ним
пальто, душа
и веки...
К тебе тогда
явился человек
И таял снег
на этом человеке.

ЦЫГАНКА

На сцене с дьявольской осанкой
В цветастом, радужном платке
Поет красавица-цыганка
В глухом таежном городке.

У клуба, тронутый апрелем,
Белеет снег вчерашних вьюг.
А знойные, степные трели
Приблизили вплотную юг.

Сады Молдавии далекой
И юность, полную огня,
Что вопреки любому сроку,
Сегодня в сердце у меня.

А зал грохочет, зал неистов.
Он песен требует шальных...
Плывут, горят, звенят мониста
В глазах и в косах смоляных.

Весь вечер царствует южанка
В цветастом, радужном платке.
Прощает, любит, мстит цыганка
В глухом сибирском городке.

Георгий ЭДЕЛЬМАН

ЧАСЫ

В житейских буднях, в толчее привычной,
В любом сплетенье судеб и дорог,
Подобно сердцу нашему, ритмично
Стучат часы, нам отмеряя срок.

Негромкий голос их сильней набата.
И в реве пушек, и в ночной тиши,
Сквозь суетность, сквозь праздные дебаты
Они твердят: «Спеши, спеши, спеши!»

Спеши любить!..
Спеши добраться к звездам!..
Спеши оставить людям добрый след!..
Часы стучат, напоминая грозно,
Что времени для промедленья нет.

Минуты тают, как снежок весенний,
И головы людские серебрят...
И годы несвершенных дерзновений
На нас с укором издали глядят.

Геннадий НИКОЛАЕВ

ПЛЕТЬ О ДВУХ КОНЦАХ

Повесть

1

Лешка сошел на восьмидесятом километре. Разъезд назывался «Лесной». Воздух и тишина оглушали. От шпал подымался горячий смоляной дух, из лесу тянуло хвойным ароматом цветущих сосен. Вдруг прямо перед ним вырос какой-то человек — приземистый, широкий, с ярко-рыжим чубом под треснувшим козырьком армейской фуражки, с медной щетиной и живыми голубыми глазами.

— Ну что, с приехалом?— приветливо сказал мужичок, с любопытством поглядывая на Лешкины вещи.— Жду-встречаю. Велено доставить на машинке.

— Меня? На машине?— удивился Лешка.— Я дорогу знаю.

Рыжий развел своими короткими ручищами:

— Папаша велел, — и — подмигнул: — Приказ начальства — закон для подчиненных. Давай-ка чимальданчик.

Легко подхватив увесистый чемодан, набитый книгами, он резво сбежал с насыпи на тропинку.

«Сюрприз!» — улыбнулся Лешка, быстро впрягся в рюкзак и, согнувшись под его тяжестью, заспешил вслед за мужичком.

Газик с брезентовым верхом стоял в короткой тени за углом дома. Напротив, через улицу, на новом срубе тюкали топорами четверо мужиков. Трава вокруг была усыпана свежими сверкающими стружками.

Лешка распахнул дверцу, хотел положить в машину рюкзак, но заднее сиденье оказалось занятым. Неловко скрючившись на боку и свесив босые ноги, там похрапывал и стонал во сне парень. Рядом с ним, поблескивая мутно-зелеными горлышками, стоял ящик водки. Парень упирался в него задом. Лешка в нерешительности отступил.

— Чего ты? Буди его,— подскочил рыжий.— Эй, тунеядец, кончай ночевать.

Он грубо дернул парня за ногу — тот торопливо сел, таращ. красные мутные глаза, с облегчением отвалился на сиденье.

Шофер швырнул чемодан, — парень едва успел убрать ноги — закинул рюкзак и проворно скользнул за руль. Лихо, со злостью развернулся на лужайке перед срубом и попер, попер, оставляя за собой бурую клубящуюся завесу.

Сразу за деревней начинался сосновый бор. Дорога была усыпана рыжей хвоей и старыми шишками. Тут и там, в глубине леса проглядывали полянки, то золотистые, то ярко-зеленые под лучами солнца. Прямо от дороги расползались в обе стороны глянцевитые брусничники и бархатистые заросли багульника.

Вскоре выехали на широкую, залитую солнцем просеку. Трасса! Лешка смотрел во все глаза. Издали белый, вблизи желтоватый, с бурыми пятнами на бумажной оплетке, газопровод тянулся макарониной по дну неглубокой траншеи. Края траншеи осыпались, дерн высох и побурел, под ним темнели жилки перегноя. Земля на просеке искромсана, взрыта гусеницами — видно, еще недавно здесь ползали и крутились стальные машины. Между кочек, ямин и пеньков петляли две параллельные дорожки, накатанные колесами газика.

Ехали молча. В одном месте на трубе черной битумной мастикой было намалевано:

«Я К О В
1959»

Рядом с «Яковом» через тире кто-то выцарапал «дурак».

— Кто это себя увековечил?— спросил Лешка.

— А вон, тунеядец,— кивнул рыжий на парня сзади.

Лешка обернулся. Парень дремал, раскинув тонкие жилистые руки. Вытянутое костлявое лицо, длинные, давно не стриженные патлы, свившиеся в кольца, как шерсть на пуделе, чуть заметные усики и редкие курчавые бакенбарды — «Дон Кихот в молодости»,— подумал Лешка и засмеялся.

Километров через пять вдруг заглох мотор. Николай повозился под капотом, покрутил ручку, потом все по очереди крутили ручку,—«искра ушла в баллон»—отказал бензонасос. Николай велел идти пешком. Яков раскричался насчет водки, дескать, там люди погибают, и, дескать, он не ишак, чтобы таскать на себе. Рыжий послал его подальше и залез под машину.

— Придется переть,— вздохнул Яков.

Решили так: Лешкины вещи оставили в газике — рыжий обещал до вечера подбросить,— а ящик с водкой взяли с собой. Перебрались через траншею, ближе к лесу, в тень.

Яков скоро выдохся. Сели отдохнуть на земляной вал. Мотнув ногами, он сбросил кирзовые бахилы на толстой резиновой подошве, с удовольствием пошевелил белыми сопревшими пальцами.

— Ты как сюда, папаша спровадил или сам додул?

— Сам. Мне нужен производственный стаж. На будущий год в институт.

— Понятно,— перебил Яков.— А папаша не мог устроить?

— Зачем? Сам поступлю.

— Сознательный?

— А что?

— Да так.— Яков хлестанул себя по ребрам, сбил впившегося муравья, сказал лениво и беззлобно:— Дурень ты — вот что. Я бы на твоем месте на Мадагаскар махнул.

— Почему именно на Мадагаскар?

— Там водятся лемуры. Я бы их наловил, отдрессировал, в цирке бы с ними выступал. Знаешь как?

Яков смешно сморщился, покрутил длинным носом, пошевелил ушами, свел глаза к переносице, развел к вискам, объявил гнусавым «цирковым» голосом:

— Только раз, только у нас! Неповторимо, неперевваримо! Русс Яков с дрессированными лемурами! Кордебалет на канате, фигуральтика под самым куполом циркодрома, кас-ми-чес-кий па-лет к другим, неваабразимым мирам!

Лешка захохотал. Рассмеявшись, Яков сполз на корточках к ящику с водкой, резко выпрямился, подпрыгнул и издал протяжный вибрирующий горловой крик, похожий на злобный вой кота.

— Так кричат лемуры катта, подвижные, ловкие и заполошные, как одесские торговки. В отличие от торговок лемуры умеют удивляться и играть в популярную детскую игру «замри». Этим они и покорили меня. Ну, ладно, пошли, а то там люди погибают, — сказал Яков и взялся за ящик. — Я смотрю, как бы мне не схлопотать сегодня по шее от изнывающего коллектива.

Они подняли ящик, пошли, покачиваясь и наступая на собственные тени. Солнце уже давно спустилось с полуденной высоты и теперь било слева в затылок.

Люди «погибали» в тени под навесом, за тесовым в три доски столом. Четверо лениво забивали «козла», пятый сидел особняком, привалившись к стойке, тренькал на гитаре и напевал нудным голосом частушки. Все пятеро были босоноги, без рубах, темные от загара. Под столом, как стреляные гильзы после жаркого боя, валялись пустые бутылки — «сучок», «московская», «перцовка», «кориандровая». На утро, как водится, не хватило, и теперь в ожидании Якова они переживали трудные часы.

На поляне, чуть в стороне от навеса, стояли друг за другом пять вагончиков-домиков на резиновом ходу — два зеленых, коричневый и опять два зеленых, — как игрушечный состав без паровоза. К последнему зеленому приткнулась сколоченная на скорую руку стайка на деревянных полозьях. За ней примостился сарайчик — жерди да крыша.

По краю поляны, за редким березнячком, проходила трасса — просека, траншея, невысокий земляной вал. В этом месте газопровод выползал на бровку траншеи и обрывался, зияя черной круглой пастью. Там же, вдоль бровки разместилась техника: два трубоукладчика с нацеленными в небо стрелами, бульдозер, сварочный агрегат САК—железный сундук на тележке; передвижной котел для приготовления битумной мастики и пузатый ацетиленовый генератор, заляпанный известью. В другом конце поляны, пощипывая траву, бродила корова.

Среди «козлобоев» выделялся Мосин, сварщик-паспортист — плотный, круглый, с широким давно небритым лицом, с маленькими, как ржавые кнопки, глазами, которые смотрели холодно и прилипчиво.

Гитарист Гошка, сварщик второй руки, пел монотонной скороговоркой. Частушки выскакивали из него, как сардельки из автомата. Знал он их великое множество.

Ты точи, точи, точило,
острый ножик навостри,
Мине милка изменила —
Раз и два и три.

После каждого куплета он щипал струны всеми пальцами разом и тут же прижимал ладонью.

Ты за талию меня
Не бери, Ванюша,
Не цылована три дня —
Затрясусь как груша.

— Вот мы и притепали, — сказал Яков, и они поставили ящик с водкой на верхушке земляного вала.

Через траншею была брошена доска — узкая и на вид хлипкая. По ней надо было перейти на поляну.

— Эй, алкаши! Ого-го! Готовьте глотки! — заорал Яков.

На его крик из первого зеленого вагончика высунулась Валька, девица двадцати семи лет, — главная по проверке качества сварных швов. Красивые светлые волосы ее были распущены, яркий, в красных розах халат расстегнут — издали чернела широкая полоса лифчика. Увидев ящик с водкой, она фыркнула с отвращением и скрылась в вагончике.

Из четвертого зеленого спустилась, покачиваясь как борец, грузная и поблекшая, несмотря на молодые годы, Зинка, жена Гошки-гитариста и штатная повариха.

— Паразиты! — прошипела она с ненавистью и пошла в стайку.

«Козлобои» меж тем бросили домино, один за другим потянулись из-под навеса. Приободрившийся Гошка ударил на гитаре туш.

Вскинув ящик на плечи, Яков спустился с вала, ступил на доску. Желая хвастануть, он поднял ящик над головой, пошел плавным, скользящим шагом, подражая канатоходцам. Доска пружинила, прогибалась. На середине пути Яков вдруг сильно качнулся — ящик повалился ему за спину, вывернулся из рук. Бутылки зелеными щуками скользнули в траншею.

Кто-то ахнул. Мосин втянул в себя воздух, по-бычьи наклонив голову, медленно двинулся на Якова. «Циркач» топтался у края траншеи, заглядывал вниз, испуганно улыбался. Мосин спокойно сгреб его за штаны и, коротко размахнувшись, ударил в лицо. Ойкнув, Яков свалился на землю, покатился по траве.

— Придурок! — прохрипел Мосин и пошел за ним с явным намерением надавать пинкарей.

Рабочие смотрели и не двигались: то ли растерялись, то ли в душе считали, что так и надо проучить растяпу.

Лешка рванулся с вала, в два прыжка махнул по доске через траншею, встал перед Мосиным со стиснутыми кулаками:

— Не смеете!

Мосин качнулся как тумба и двумя руками рывком отшвырнул Лешку в сторону. Не удержавшись на ногах, Лешка свалился в траншею, на осколки битых бутылок. Мосин вперевалочку заспешил к Якову.

— Стой! Мосин! Прекрати!

Меж березок замелькал Валькин халатик. Она подскочила к Мосину, толкнула его в грудь, закричала истошно-жалобно:

— Товарищи! Помогите же!

Яков воспользовался моментом, вскочил и отбежал в сторону. Мосин, покачиваясь, ушел под навес. Валька набросилась на рабочих:

— Совсем с ума спятили. Неделю пьете — совести нет. До белой горячки допились.

Гошка прыгнул в траншею — собрать, что осталось.

— А что нам с тоски погибать, раз труб нет, — огрызнулся он из траншеи и весело заорал: — Живем, братва!

Лешка цеплялся за траву одной рукой, другую держал на весу, подпрыгивал, но никак не мог выбраться.

— Давай, герой, помогу, — Валька вытянула его на бровку, засмеялась: — Как петух с подбитым крылом.

Лешка болезненно улыбнулся, показал руку — ладонь была рассечена, из раны сочилась кровь.

— Ух ты, надо перевязать, пошли, — она повела его к вагончикам.

Первый зеленый — самодельный, новый, еще не заезжен. Стены и потолки выкрашены светло-серой масляной краской, пол, набранный из узких досок, уже расщелился. Слева от входа — фотоотсек, дверь распахнута, виден фотостол с большим матовым экраном, на полочках кюветы, красный фонарь, какие-то приборы. Справа — две полки, одна над другой, как в плацкартном вагоне. У противоположной стены, под окном, откидной столик — на нем зеркало, стакан с лесными цветами, флакончик духов, пудра. Нижняя постель застелена «конвертом», белой пирамидкой торчит подушка.

— Не крутись! — Валька бесцеремонно развернула Лешку, обмыла рану водой, приложила смоченную иодом ватку. — Держи!

Лешка заскрипел зубами, отрывисто засмеялся:

— Наше знакомство скреплено кровью.

— Ржешь как жеребенок, — улыбнулась Валька.

— А вы смелая и красивая, — сказал он и зарделся.

Валька насмешливо посмотрела ему в глаза. Одинакового роста, светлоголовые, они стояли друг возле друга и смущенно молчали.

Мимо окон кто-то прошел. Валька метнулась к двери, крикнула:

— Михаил Иванович!

В белой полотняной паре, в соломенной шляпе с черным пояском, в красных китайских сандалиях с дырочками, спиннинг через плечо, в руках связка крупных сероватых хариусов и с дюжину ельцов, как из чистого серебра, — Чугреев больше походил на дачника-отпускника, чем на бригадира.

Валька подскочила к нему, когда он неторопливо поворачивал ключ в замке. Он жил в среднем, коричневом, и на правах бригадира занимал целиком весь вагончик.

— Что скажешь, красавица? — спросил он, открывая дверь.

Лешку поразил голос Чугреева — густой, низкий, урчащий, с гнусавинкой.

— Михаил Иванович, до чертиков уже допились, — с возмущением затараторила Валька. — Яков принес ящик водки, уронил в траншею. Мосин избил его, и вот новенькому досталось.

Чугреев с пристальным прищуром глянул на Лешку:

— Это Ерошеву, что ли?

Лешка заулыбался:

— Здравствуйте, Михаил Иванович. Мне попало — немножко.

Чугреев кивнул. Валька затормошила его, показывая в сторону навеса:

— Вон, видите, тащат остатки допизать. Надо же их остановить! Михаил Иванович!

— Ты думаешь, надо? — он прислонил спиннинг к стене, рыбу бросил на траву. — А может, не надо? Пусть погуляют, пока труб нет, а?

— Прошу вас, умоляю, Михаил Иванович. Ведь целыми днями пьют, смотреть на них тошно. Отберите у них водку.

Чугреев непонятно хмыкнул, взял ее за плечо, слегка сдавил.

— Тихо, тихо, огонь в халате. Ты думаешь, я могу им запретить?

— Вечно вы шутите! А мне противно! Вот возьму и уволюсь, — она дернула плечом, пытаясь освободиться от его тяжелой руки.

— Серьезно? — он еще сильнее сдавил ее плечо.

— Да, серьезно! — вызывающе сказала она и сбросила его руку.

— Ну, тогда конечно. Подожди-ка... — Он увидел Зинку, свистнул: — Зинаида! Вот рыба — зажаришь.

Под навесом все было готово: водка разлита по кружкам, тремя горками разложен хлеб, куски жирной колбасы, очищенный лук. Чугреев молча прошел к тому углу, где сидел Мосин, глянул в ящик, пересчитал бутылки: одиннадцать целых и три с отбитыми горлышками. Вытащил поломанные, поставил перед Мосиным:

— Профильтруете через тряпку. — Прикинул на глаз сколько водки, выставил одну целую. — Хватит. Георгий и ты, — поманил Лешку, — живо ящик в мой вагончик. — Постучал костяшками пальцев по столу. — С завтрашнего дня начну техучебу. — И вдруг гаркнул: — Ясно?!

Гошка жалобно посмотрел на Мосина — тот ссутулился над сложенными ручищами, не мигая вперился в стол.

Бригадирский вагончик казался просторнее — не было полок, стояла узкая железная койка. Прямо от входа на стене висели политическая карта мира и ружье — через два полушария. На лавке в углу поблескивала приборами и рукоятками рация.

Ящик с водкой засунули под стол. Гошка поспешно удалился, Лешка задержался поговорить. Отец рассказывал, что бригадиру пятьдесят два года, «старпер», можно сказать, а тут глазам своим не верь: снял куртку — крепкий, мускулистый, плечи валунами, грудь выпуклая, брюшной пресс упругими валиками. Лицо, правда, в морщинах, но морщины эти не мелкие и не частые — глубокие и редкие, скорее от бывалости, чем от старости. Странным казался нос Чугреева — продолговатый, круглый, без хрящей, словно полсардельки приклеено. Видимо, из-за носа он говорил глухим, чуть гнусавым голосом.

— Ну, что, пацан, носом моим заинтересовался? — спросил он, перехватив любопытный взгляд. — Это нос не мой, искусственный. Мой нос немцы оттяпали — осколком. Ясно?

Лешка думал, что Чугреев спросит, как доехал, встретил ли рыжий Николай, но Чугреев не спрашивал — насвистывая, высыпал из коробочки на стол рыбацкую мелочь: крючки, мушки, грузики, карабинчики, и начал глубокомысленно ковыряться в них.

— Михаил Иванович, я в школе сварку проходил, варить умею, — сказал Лешка.

— Сварку проходил... — равнодушно повторил Чугреев. — Это хорошо, что сварку проходил. Давай устраивайся, осматривайся, денька через два-три испытаем, какой ты сварщик. Ясно?

— Ясно, — сказал Лешка и вышел.

Рыжий Николай приехал под вечер. Сбросил у третьего зеленого Лешкины вещи, ушел к Чугрееву доложиться. Рабочие давно разбрелись кто куда. Лешка с Яковом облазили все машины, — трубоукладчики, бульдозер, САК — проголодались, пришли под навес разведать насчет ужина.

Зинка темной глыбой стояла у печки, жарила рыбу. Пахло дымком, поджаренным постным маслом. Звенели комары.

— Жить здесь можно, — сказал Яков, садясь за стол. Левый глаз его припух, под глазом и на щеке красовалось алое пятно. — Людишек, правда, маловато, но зато, знаешь, старик, раздолье для философствующей натуры.

Переваливаясь на толстых, как чурки, ногах, подошла Зинка, швырнула на стол горячую миску с шипящими ельцами.

— Лопайте!

Рыбу ели руками — торопливо, обжигаясь, шмыгая носами. Лешка давился, кашлял, то и дело выплевывал кости. Так жадно, так грубо он никогда еще не ел. «Вот бы мама увидела!»

Яков мастерски расправлялся с рыбой. Он хватал ее двумя руками — за хвост и за голову, алчно всхлипывая, проводил ртом по хребту, как по губной гармошке, потом перекидывал в руках и припадал к боковинкам. Костлявый остов с головой шлепал возле себя на стол. Лешка отставал. Поднажав, Яков схватил последнюю рыбешку. «Я бы оставил», — подумал Лешка обиженно.

Яков слопал рыбешку, — скелет кинул через плечо.

— Шесть—три! — сказал он гордо. — Я обожрался, а ты голодный. Скажи спасибо за урок. Ты, старик, явно переоцениваешь достижения цивилизации.

Лешка снисходительно усмехнулся:

— Глупости! Люди-то умнеют, а не деградируют.

— Давай, давай, умней, — Яков смачно жевал рыбьи головы, высасывал сок, а кости выплевывал под стол. — Посмотрим, что ты запоешь лет через пятьшесть, когда встанешь на собственные пятаки. Тоже мне Иисус Христос!

Из первого зеленого выскочила Валька — голубая кофта, плиссированная юбка, прическа — «конский хвост». Неловко ковыляя на высоких каблуках, подошла к печурке, согнулась над сковородкой.

— Вкусно! Мне оставишь?

— Гулящим на столбу. Кыш! — шуганула ее Зинка.

Валька с хохотом увернулась, покачивая бедрами, прошла вдоль стола. От нее пахло духами.

— Как дела, новенький? — сильной рукой она пошлепала Лешку по щеке.

Лешка чуть не поперхнулся, выплюнул кости, покраснел.

Валька засмеялась:

— Симпатичная парочка. Хотела вас взять на танцы, а вы вон какие красивенькие.

Из коричневого вагончика, кожилясь, с ящиком гвоздей, спустился по ступенькам рыжий Николай. Короткими шажками дотащил ящик до машины, грохнул на пол в кабину, свистнул.

— Валюха! По коням!

Валька крутнулась на носках.

— Бегу! А вы, котята, зализывайте синяки и раны. Пока!

— Целуй бока у старого быка! — крикнул вдогонку ей Яков и презрительно сморщился, насколько позволял подбитый глаз.

Не оборачиваясь, Валька погрозила кулаком.

Яков застыл на миг с презрительной гримасой, словно прислушиваясь, что творится в животе, и вдруг, встрепенулся:

— Поехали девок шерстить! Эй, подождите! — завопил он пронзительно и кинулся к машине.

Лешка почувствовал толчок — сердце застучало весело, озорно, захотелось приключений, буйства. Он рванулся за Яковом.

— А рыба-то! — закричала Зинка, но они уже хлопали дверцами.

Николай оглянулся на Лешку, одобрительно сказал «Ого!» и наддал газу. Лешка засмеялся. Валька сидела вполоборота к нему — в сумерках сверкали глаза и зубы.

— Будешь танцевать со мной? — спросила она.

Лешка кивнул. К нему вплотную придвинулся Яков:

— Будь осторожен, старик, она знойная женщина.

Лешка широко, глупо улыбался. Его пьянила эта внезапная поездка в ночь, в неведомое, на какие-то немыслимые деревенские танцы. «Вот так надо жить! — думал он с восторгом. — Чтобы пыль летела из-под копыт!»

В Лесиху въехали при фарах. На мягкой пыльной дороге лежали бычки, жмурились от яркого света, но не вставали. Николай подрулил к лужайке возле сруба, сделал круг, разогнав танцевавшие парочки, лихо тормознул в двух метрах от какой-то девушки. Заиграл баян, кругом загалдели, засмеялись женские голоса, где-то громко балагурил Яков. Валька потянула Лешку танцевать, но он все же успел заметить, как одна девушка скользнула на переднее сиденье, и газик укатил в ночь.

Танцевали танго, танцевали фокстрот, кружились в вальсе. Бледное Валькино лицо, широкие с блестками глаза и губы — все было близко и необыкновенно в лунном свете. Валька прижималась тугой грудью, осторожно, словно невзначай касалась лицом щеки — у Лешки перехватывало дыхание, приятно замирало сердце. Ему казалось, что он летит вместе с ней к звездам.

Танцы кончились, девушки окружили баяниста, затянули песню. Лешка огляделся — Якова уже не было. Валька сказала «проводи», он робко взял ее под руку. Вдогонку им полетел девичий озорной голос:

— Валентина, где такого мальчика отхватила? Подари на вечерок...

— Дареное не дарят, — крикнула Валька и, засмеявшись, прижала локтем Лешкину руку.

Шли молча мимо темных сонных домов — движок почему-то не работал. Свернули в переулок, пошли вдоль палисадников.

— Сюда, — сказала Валька и заскрипела калиткой. — Будешь спать на сеновале. Иди за мной.

Она подвела его к сараю, показала лестницу.

— Там есть одеяло и полушубок. Не страшно?

— Нет, — так же шепотом ответил Лешка и взял ее за руку. — А вы?

— Я в доме у старушки. Ну, пока, Леша, — мягко сказала она и, ласково поглаживая его руку, медленно, как бы нехотя, выпростала свою руку из его горячей руки. — Спокойной ночи.

Лешка поднялся на сеновал, растянулся на сене. В треугольном проеме светилось ночное небо, крошечными огоньками трепыхались далекие звезды. Лешка смотрел на них и мучительно старался вспомнить, что это за созвездие, но все путалось в голове, перед глазами всплывало бледное Валькино лицо, а в груди горячо стукалось: Валя... Валя... Валя...

Вдруг в темном углу что-то заворочалось, тихо зашуршало сеном. Осторожными шажками это что-то приблизилось к Лешке и остановилось. Склонилось над ним, обнюхало лицо, тыкаясь холодным мокрым носом, лизнуло шершавым языком. Лешка отстранился, поймал рукой теплое мягкое ухо. Большая лохматая собака склонила голову и замерла так, ожидая ласки. Лешка притянул ее к себе и долго гладил, туманно и счастливо улыбаясь.

2

Проводив Лешку, Павел Сергеевич сразу поехал в управление. Дел было по горло, но самое первое — просмотреть бумаги. Вчера весь день мотался по судебным инстанциям — сегодня придется перелопачивать за два дня. Приказы, отчеты, инструкции, указания, письма, запросы — бумаги валят без выходных. Из главка, из треста, из обкома, из райкома, с предприятий. Совнархоз тоже не забывает выдать какоенибудь руководящее указание или инструктивное разъяснение. Вали кулем — потом разберем.

Павел Сергеевич открыл папку — сверху вороха лежало отпечатанное на синьке и прошитое нитками

«Типовое положение о бригадах и ударниках коммунистического труда (условия соревнования и присуждения)». Почитать не удалось — в кабинет робко вошла Стыврина, кладовщица, жена бригадира плотников. Присела на краешек стула, несчастная и тихая — под глазом синячище, рука забинтована. Муж запил, буянит, дерется — житья нет.

К Павлу Сергеевичу частенько обращались жены работников с подобными бедами — знали, что начальник не пьет и не любит, когда другие пьянствуют. Рабочие его побаивались, видимо, из-за пенсне — стекла сильно увеличивали, глаза казались круглыми и суровыми, как у прокурора. Разговаривая с собеседником, Павел Сергеевич смотрел на него внимательно и серьезно, как бы ожидая услышать нечто значительное — это сразу настраивало людей на деловой лад.

— Все ясно, — сказал Павел Сергеевич. — Не ясно одно: откуда он деньги берет, чтобы каждый день пить?

Стыврина смущенно повздыхала, взяла с Павла Сергеевича обещание, что он ее не выдаст перед мужем, и рассказала, как муженек с бригадой приспособились по вечерам зашибать калым: кому крышу починить, кому пол перестелить, кому веранду сделать. С утра кого-нибудь посылают рыскать по городу, договариваться, а к вечеру всей бригадой идут по «точкам» — калымят, денежки собирают.

Павел Сергеевич подивился: «Вот пройдохи!» — и записал себе на память план будущего разговора со Стывриным: «Стройматериалы, патент на артель, горфинотдел, суд». Пообещал Стывриной, не выдавая ее, серьезно потолковать с ее мужем.

Только взялся за «Положение», стукнулся Разборов, начальник планового отдела — человек лет сорока пяти, с деликатными манерами, с полным холеным лицом, с зализанными остатками волос на голой розовой полосе посреди черепа.

— Что будем делать с Каллистовым, Павел Сергеевич? — спросил он, легонько потирая, как бы намыливая свои полные руки. — Два письма послали, телефонограмму, а труб все нет. Чугреев простаивает, мне план нечем закрывать. В госбанк будем обращаться?

Павел Сергеевич задумался. Уж больно не хотелось портить отношения с таким важным заказчиком, каким был для СМУ-2 Федор Захарович Каллистов.

Жизнь столкнула Павла Сергеевича с ним год назад, когда в главке решался вопрос, кому строить газопровод к химкомбинату. Павел Сергеевич сомневался, потянет ли его слабосильное СМУ-2 и так заваленное заказами по теплофикации и канализации города еще одну ответственную и срочную работу. Колебания его рассеял Каллистов. Перед последней инстанцией — начальником главка — Каллистов задержал Павла Сергеевича в приемной и, гремя могучим басом, обозвал мымрой, телком, перестраховщиком. Сказал, что надо дерзать — новое дело, размах, солидный заказ. Павел Сергеевич и сам, в конце концов, загорелся этой стройкой. Дела пошли хорошо. За десять месяцев бригада Чугреева прошла восемьдесят один километр, причем, траншеекопатели ушли еще дальше — до сотого километра. Местная газета брала по этому поводу интервью у Павла Сергеевича и потом писала:

«...Включившись в общенародную борьбу за Большую химию, трубостроители СМУ-2, которое возглавляет тов. Ерошев П. С., прокладывают стальную газовую магистраль через вековую тайгу. Семьдесят семь километров осталось пройти нехоженными тропами магелланам XX века. Природный газ досрочно, ко дню Советской Армии потечет к гиганту химической индустрии. Вот она, романтика наших дней!»

Павел Сергеевич посмеялся, но статейку вырезал, унес домой, спрятал в папку, где хранились документы и орден отца и его собственные грамоты и награды.

Полмесяца назад Каллистов прекратил поставку труб. Бригада Чугреева уложила последние пять километров и стала. Чугреев методично слал радиограммы: «Срываете темп», «Бригада беспокоится об оплате», «Прошу всех перевести на средне-сдельные оклады»...

Павел Сергеевич позвонил Каллистову — тот был не в духе, рявкнул «труб нет» и отключился. Тогда начали писать официальные письма. Каллистов молчал. Разборов нервничал. Пора было принимать решительные меры, но Павел Сергеевич медлил, не хотел портить с Каллистовым отношения. В конце концов день-два можно было терпеть, но тогда придется действовать через банк. Выслушав такое решение, Разборов неодобрительно покачал головой, поиграл застежкой-молнией и ушел с видом человека, который снимает с себя всякую ответственность за дальнейшее.

Павел Сергеевич снова открыл «Положение», но тут вошла секретарша, принесла свежие газеты. Павел Сергеевич удивился — уже обед? Быстро. Обычно он их просматривал в обеденный перерыв, за стаканом чая. Он редко ездил домой — долго. В столовую не ходил вовсе — невкусно. Чаще брал что-нибудь с собой: курицу, корейку или сыр с хлебом. Чай заваривал в электрическом чайнике, любил свежий и крепкий.

Сегодня чай не шел, казался горьким. Сыр тоже горчил. К тому же разболелся желудок — незалеченная язва, памятка военных лет. Отставив чай, Павел Сергеевич взялся за газеты. Развернул «Правду». Передовица «Большой химии — ускоренное развитие».

— Понятно, — пробурчал Павел Сергеевич и перевернул страницу.

«Советско-американские отношения должны строиться на прочных основах мира и дружбы». Пресс-конференция Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева».

— Правильно, так их! Поехали дальше.

«Общественность всех стран горячо одобряет предстоящий обмен визитами между Н. С. Хрущевым и Д. Эйзенхауэром». «От всего сердца». «Мы давно этого ждали». «Событие, которое взволновало весь мир». «Китайский народ приветствует». «Желаем успеха!»

Павел Сергеевич отложил «Правду», взялся за местную.

«Все силы на уборку урожая»... «Гиганту нужен газ». Павел Сергеевич помчался глазами по строчкам.

Включившись в борьбу за досрочное выполнение... Уже близится к концу монтаж первой очереди... Стройными свечами вздымаются ректификационные колонны... Строители, монтажники и эксплуатационники полны решимости дать стране первую тонну продукта ко Дню Советской Конституции...»

Кровь бросилась ему в лицо. «Ко Дню Советской Конституции» повторил он шепотом, не веря своим глазам.

«...Большую тревогу у строителей гиганта вызывают недопустимо медленные темпы сооружения трубопровода от газовых скважин до приемных ресиверов комбината. О чем думает начальник СМУ-2 тов. Ерошев П. С. Гиганту нужен газ, а времени остается в обрез. Если сейчас не развернуть полным ходом монтаж газовой магистрали, то все героические усилия огромного коллектива строителей окажутся под угрозой».

Павел Сергеевич откинулся в кресле, снял пенсне. Вот это да! Во рту стало совсем горько, руки дрожали.

Абракадабра, нелепость, черт знает что! Он позвонил диспетчеру, вызвал машину, поехал к Каллистову.

Управление строительства химкомбината помещалось в длинном мрачном бараке, на той стороне реки. Разъезженная, ухабистая дорога к стройке была забита двумя встречными потоками машин — они медленно двигались сквозь серое облако пыли, как в тумане.

Павлу Сергеевичу повезло: мутно-салатовая «Волга» стояла у крыльца — значит Каллистов на месте. В приемной толкался народ — десятка два. Павел Сергеевич знал, как поступать в таком случае: прошел в кабинет, ни на кого не обращая внимания.

— Идите и работайте, — гремел Каллистов на плюгавенького мужичка в серой брезентовой куртке. — Что вы лезете ко мне с мелочами? Это может решить начальник участка. Все! Садись, Ерошев. Здорово!

Они поздоровались. Каллистов болезненно улыбнулся, сычом уставился на мужичка. Тот стоял боком, нерешительно тянул какую-то бумажку, тупо повторял:

— Дык он к вам меня послал...

Каллистов разразился многоэтажным матом, перегнулся через стол, вырвал у мужичка бумагу.

— Весь день бегашь, бегашь. Туды-сюды, туды-сюды, — мямлил мужичок, не то жалуясь, не то возмущаясь.

Павел Сергеевич следил, как нервно, дергаясь и корябая, перо выводило резолюцию: «Тов. Шумилову. Еще раз пришлешь ко мне, уволю».

— На! И катись!

Мужичок бережно принял бумагу, почесывая затылок и разбирая на ходу каракули, вышел из кабинета.

Каллистов посмотрел на Павла Сергеевича, глаза его смеялись.

— Ну что, шарашмонтаж, попал под прессу? Читал? Бумагомараки проклятые! — ухмыляясь, порылся в ворохе бумаг, вытянул одну, энергично скомкал и бросил в корзину. — Признайся честно, ездил в банк?

— Честно признаюсь: не ездил, — сказал Павел Сергеевич. Злость прошла, теперь он чувствовал только усталость.

— Матрос! — похвалил Каллистов и раскатисто захохотал. — С тобой можно иметь дела, хороший подрядчик.

Он привстал, подтянул к себе графин с водой, через горлышко выпил половину, плюхнулся в кресло. Вытащил платок и как промокашкой похлопал по лицу — от серой короны седых стриженых волос до могучей шеи.

— Уф, жарко! Весь день кручусь, как сука лагерная, будто мне больше всех надо. — Он расстегнул куртку, погладил заколыхавшийся живот. — Не больше всех, но и не мало. Да?

В кабинет кто-то заглянул.

— Я занят, — гаркнул Каллистов. Дверь быстро захлопнулась. — Ты, брат, не серчай за трубы, — сказал он мягко Павлу Сергеевичу, — с трубами я крепко вляпался. Завод приостановил поставку, у них там какая-то перестройка. Да и вообще, сейчас кругом перестройки — куда ни сунешься. ни хрена толку не добьешься. Ну да ладно, трубы я найду, со второй очереди дам. А ты что-то, брат, скис. Статейка подействовала?

— Да нет, мура это, — с деланым равнодушием отмахнулся Павел Сергеевич. — Ты мне скажи лучше, правда ли, что к декабрю комбинат будешь сдавать? Или это газетная опечатка?

— Если бы! — Каллистов тяжело вздохнул. Бугристые, с прожилками и желтыми пятнами ореховые глаза его потемнели, словно погасли. — Меня самого чуть кондрашка не хватила, когда получил ВЧ-грамму. Связался с Госкомитетом — что, говорят, сурово? Ничего не поделаешь... Позвонил в обком — уже знают, уже взяли под контроль. Понял, чем Ванька Машку донял? — Он стал загибать толстые, как обрубленные, пальцы, — август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Четыре! Вот в чем сказка.

Они помолчали.

— Скажи по совести, Павел, к декабрю сумеешь закончить трассу? — спросил Каллистов тихо.

Павел Сергеевич покачал головой:

— Невозможно.

Каллистов хитро прищурился, цокнул языком:

— Э, брат, хитер! Смикитил: раз Каллистов зашивается с комбинатом, так и трасса не к спеху. Когда уволят, приходи, возьму к себе в замы...

Он затрясся всем телом — казалось, что и глаза сами по себе тоже запрыгали от хохота.

Павел Сергеевич поправил двумя пальцами пенсне, сказал, стараясь выдержать шутливый тон:

— Я предлагаю другой вариант: раз нет трассы, нет газа, так и комбинат не к спеху.

Каллистов подумал, как бы оценивая идею, и горестно вздохнул:

— Худо, брат, худо. Мы теперь с тобой как два кролика, вздернутые на одной удавке через прясло. М-да... — Он крепко почесал затылок. — А сколько километров осталось?

— Семьдесят два — сварить и уложить. Траншея, можно сказать, готова. Но, Федор Захарович, это же черт знает что! Договаривались к марту, в апреле пробный пуск, в мае — сдача в эксплуатацию. Так все и планировали, а теперь хоть кверху ногами становись. Чем варить? И кем варить? Чем грузить? На чем возить? Ни людей, ни машин, ни оборудования. К чертовой матери! Завтра пойду в обком к первому секретарю. Что хотите, скажу, делайте, хоть снимайте, хоть судите, а срок невыполнимый.

— Не пойдешь, — холодно глядя на него, сказал Каллистов.

— Пойду! Почему ты думаешь, не пойду?

— Потому что ты не такой дурак, каким прикидываешься. Это я должен идти, и я уже ходил.

— Ну и что?

— Езжай, говорит, в Москву. Я, говорит, пас.

— Что же делать? — растерялся Павел Сергеевич.

— Смотри. Хозяин-барин... Можешь, конечно, слетать в столицу. Пасть на колени, бухнуть лбом по паркету: так и так, мол, смилуйтесь, не могу. Только Москва слезам не верит. Старая поговорка, а в силе. Насуют— не унесешь. Биографию изгадишь: не справился, крупных строек не видать, будешь околачиваться на задворках. Или кувыркнут в рядовые инженеры, потом иди, доказывай, что ты не верблюд. — Он выкинул на стол пачку сигарет, закурил. — Слушай, хочешь, дам добрый совет?

— Дай.

— Поезжай на трассу, поговори с людьми. Бригадира прижми, пригрози как следует, наобещай с три короба — они тебе эти семьдесят километров за месяц шарахнут, успевай только подвози.

— А что я могу наобещать? Ни фонда, ни квартир.

— Для бригадира и его гавриков найдем фонд. Я заплачу. Оформим на временную работу. Пять-десять окладов — подумаешь!

Павел Сергеевич зевнул, его мутило от усталости, болел желудок, шумело в голове — хотелось спать. За окном клубилась серая, беспросветная пыль. Окна кабинета были плотно закрыты, но все равно пыль ощущалась и здесь. «В отпуск бы сейчас, за два года», — подумал он.

Каллистов внимательно разглядывал его холодными умными глазами.

— Не быть тебе начальником треста, — сказал он тихо. — Мягкотелый ты какой-то.

Павел Сергеевич приоткрыл глаза.

— А я и не хочу.

— В замы ко мне пойдешь? — предложил Каллистов. — У меня замы не уживаются. Я по характеру пускач, грубый, а ты мягкий, со всеми сработаешься. Валяй, а?

Павел Сергеевич устало улыбнулся:

— Замотаешь. Я человек медлительный. Ты лучше помоги мне машинами. Хотя бы пару МАЗов.

Каллистов засмеялся:

— А у тебя, брат, талант — выпрашивать. Ладно, — он сильно стукнул ладонью по столу, — будет тебе пара МАЗов. Вот еще что: нужен новый график монтажа. В среду обком, будут рассматривать мои дела. Успеешь до вторника?

Он тяжело поднялся, пристально глядя в глаза Павла Сергеевича, протянул руку:

— Шуруй, шарашмонтаж!

В управлении Павла Сергеевича ждала телеграмма: «По газопроводу для химкомбината закончить монтажно-сварочные изоляционно-укладочные работы до 5 декабря. Срочно вышлите для утверждения новый график монтажа. Начальник треста».

Позвонил снабженец, с гордостью сообщил: только что принял трубы на товарном дворе комбината — «трубочки-дудочки» что надо, с изоляцией, работы меньше. Павел Сергеевич приободрился, — молодец Каллистов! — поехал на участки набирать добровольцев в новую бригаду по сварке секций для трассы.

Чего казалось бы проще: снять по человечку с каждого участка, назначить главного — вот и бригада. Да нет, тут целая проблема. Все участки загружены под завязку, люди настроились на определенную работу, набрали темп — срывать и перебрасывать их на другое место дело хлопотное и вредное. Такие «маневры» злят рабочих, расхолаживают. Все сдельщики, кому охота терять на переходе, да и неизвестно, как там, в новой бригаде пойдет монета. Другой на месте Павла Сергеевича созвал бы бригадиров, стукнул кулаком по столу: «А ну, гоните-ка людишек и — не тявкать!» Дали бы, конечно, и не «тявкнули». Только кого дали бы — вот в чем вопрос. Везде есть такие, от которых хотят избавиться, вот этих бы и сплавили — сачков да недотеп. «На тебе, боже, что нам негоже». Бригадиры народ ушлый — силой и официальностью ни черта не добьешься. Цену себе знают твердо. Чуть чего, заявление на стол — строители всюду нужны. Один путь к сердцу бригадира знал Павел Сергеевич: «Выручай, дружище, горю ярким пламенем. Не выручишь — труба мне. Выручишь, сам понимаешь, в обиду не дам». Да и не такой он человек, чтобы стучать кулаком и драть горло. Тихо, спокойно, обстоятельно упрашивал бригадиров — каждого персонально. Те покуражились для порядка, повздыхали, пожаловались на свою бригадирскую долю — дали сварщиков, прихватчиков, лучших такелажников. Бригада есть — полдела сделано.

Павел Сергеевич потер руки, засвистел «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер...». День прошел не даром.

Клава была не одна. Раздеваясь в передней, Павел Сергеевич слышал, как она громко жалобно говорила: «Я не могу больше, эта кухня высосала из меня все соки. Я чувствую, как я тупею и превращаюсь в сварливую старуху». Он заглянул в столовую, — опять эта Ася, соседка, пиковая дама, уксус с перцем, как он ее называл, — холодно поздоровался и пошел умываться.

«Что может быть у них общего? — думал он с раздражением. — Сплетница-массажистка, блатмейстер, шуры-муры, обрабатывает жен крупных начальников, вечно занята какими-то темными делишками, а Клава изливает перед ней душу...»

Хлопнула дверь. «Ишь, живо улизнула», — он вышел на кухню. Клава накрывала на стол, посмотрела мягко и чуть виновато:

— Кушать будешь?

— Да, обязательно! — энергично сказал он. От этого ее взгляда, который он так любил, к нему вернулось хорошее настроение. — Сегодня я заработал не только обед, но и... — он подмигнул и двумя пальцами, большим и мизинцем, показал, что он еще заработал.

Клава выставила полбутылки кагора, оставшегося после Лешкиных проводин.

— Выпьем за одну симпатичную сварливую старушку, за которой вовсю бегают молоденькие пижончики, — сказал он шутливо, намекая на тот недавний случай, когда какой-то молодой человек помог ей дотащить сумку с базара и по пути подговаривался насчет свидания.

— Выпьем лучше за сына, чтобы у него там все было хорошо, — сказала она с грустью.

Павел Сергеевич не возражал.

— Я так мучаюсь, что согласилась отпустить Алешеньку, — пожаловалась она. — Почему ты не отговорил его?

«Как бы не так, отговоришь», — подумал он и сказал:

— Ты напрасно так волнуешься. Он ведь уже не маленький, девятнадцатый год парню.

— А что за люди там, на твоей трассе? Они не испортят нашего мальчика?

— Там отличные люди. Чугреев — бригадир что надо! Кто бы додумался завести корову на трассе? Он. В одном колхозе купили. Молочко парное пьют. Кончим трассу, говорят, пир устроим. Нас приглашали.

— С тобой никогда серьезно не поговоришь. Вечно ты увиливаешь, а я волнуюсь — он такой доверчивый и непрактичный.

— А ты хочешь, чтобы в восемнадцать лет он был ловкачом-комбинатором?

— Я была бы спокойнее. Знаешь, Павел, — сказала она и замолчала в нерешительности.

Он отодвинул тарелку — разговор начинал портить ему аппетит.

— Что, Клавдия? — спросил он, подчеркивая голосом «Клавдия». Его всегда коробило, когда она, обычно называвшая его Павлушей, вдруг говорила это грубое «Павел».

— Я разговаривала с Асей... Жена директора политехнического ее хорошая приятельница. Ася обещала переговорить с ней насчет Лешеньки...

— Хо! — воскликнул Павел Сергеевич, сразу смекнувший, куда клонит жена. — Ты пойми, Лешка не согласится ни на какие протекции. Уж я-то его знаю.

— Много он понимает! — она тоже повысила голос.

— Много не много, а то, что понимает, понимает правильно!

— Правильно, правильно. Тебя интересует только твоя репутация, как бы кто не подумал плохо. Ты честный, ты правильный, ты хороший — для всех, кроме своей семьи, — в голосе у нее уже дрожали слезы. — Ты посмотри, как мы живем: твоя правильность держится на моих морщинах и на моих сединах. — Она расплакалась, всхлипывая, — вскочила, убежала за платком.

Павел Сергеевич понуро вертел пустую рюмку и внутренне спорил с Клавой. Конечно, материально они живут не бог весть как, но и не хуже других, зато жи-

вут честно. Не разуты, не раздеты, мясо каждый день едят, пианино купили.

— Вон посмотри, Мартыновы, — она уже не плакала, но голос был мокрый, злой. — Петр Петрович не меньше тебя начальник, а не стесняется, и все у них есть: и холодильник, и стиральная машина, и гарнитур. И жена его не давится, как я, дура, в очередях — ей все на дом привозят. Короче, вот что, — сказала она ледяным тоном, — хватит. Я терпела, пока рос Лешка — теперь хватит. Ты весь день на работе, тебе интересно, а что дома творится, тебе наплевать. Хватит. Я тоже пойду работать.

— Ну, пожалуйста, иди. Разве я возражаю? — сказал Павел Сергеевич, удивленный таким поворотом разговора. — Но куда?

— В горторготдел! — сказала она с вызовом, — Ася обещала устроить.

Павел Сергеевич встал, резко отодвинул стул, ушел на балкон. До вечера они не разговаривали. Он сидел в одной комнате, она — в другой. Когда он лег спать, она вошла в спальню, взяла свою подушку, задержалась на пороге:

— Мне нужны деньги, три тысячи. Есть столовые гарнитуры, Ася достанет, — и помолчав, ожидая, что он скажет, добавила: — Стыд, позор, людей не могу пригласить.

Павел Сергеевич отвернулся к стене.

3

Проверять, какой Лешка сварщик, собралась целая комиссия: все, кроме Зинки — она бренчала кастрюлями под навесом. Чугреев был за главного. Яков и Гошка подкатили к САКу пару «катушек», обрезков трубы, состыковали их ровными торцами, привернули струбцину со сварочным проводом. Все уселись рядком на газопроводе.

В откидном щитке, в новом брезентовом костюме — куртка-балахон, штаны подвернуты — Лешка встал перед «комиссией» держать экзамен.

— Заводи! — приказал Чугреев.

Волнуясь, Лешка торопливо подошел к САКу, взялся за ручку. Двигатель закашлял как простуженная собака и вдруг оглушительно затарахтел. Лешка сбросил газ, подрегулировал обороты. Красный, торжествующий, напялил брезентовые рукавицы, вставил в державку электрод, смаху чиркнул по катушке — искры с треском и дымом вылетели из-под электрода.

— Разрешите начать?

— Валяй!

Лешка опустил на лицо щиток, склонился над стыком. Вспыхнула, затрещала дуга. «Комиссия» прикрылась от света ладонями.

Хихикая, Валька потихоньку слезла с трубы, на цыпочках, боком-боком прокралась к САКу. Быстро завернула иглу карбюратора и спряталась за газогенератором.

САК потарахтел немного и «скис» — заглох. Лешка в недоумении потоптался возле двигателя, потрогал краник бензобака, пошевелил иглу карбюратора — что за чертовщина! — завернута. С подозрением покосился на «комиссию» — «комиссия» тряслась и раскачивалась от хохота. Лешка завел двигатель, начал варить.

Валька выждала подольше, чтобы Лешка увлекся, подкралась к САКу и только было взялась за иглу, как Лешка внезапно повернулся, сбросил щиток. Она взвизгнула, понеслась к вагончикам, Лешка — за ней. Они промчались мимо навеса, пересекли поляну и скрылись в лесу.

За буйными кустами малины Валька вдруг остановилась, круто повернула навстречу Лешке. Он с ходу налетел на нее, с рычанием, по-мальчишески обхватил за талию, повалил в траву. Торжествуя, прижал на обе лопатки. Валька раскинула руки.

— Ну... — прошептала она чуть слышно, тяжело дыша.

Он близко-близко увидел ее глаза — большие зеленые ягоды крыжовника. Увидел пухлые в тонких трещинках подкрашенные губы, ровные белые башенки зубов. Она повела плечами — его руки соскользнули в траву.

— Ну... — она обхватила его за шею, притянула к себе.

Он почувствовал теплое чистое дыхание, запах духов... Валька резко оттолкнула его — он неловко поднялся, с пылающим лицом, с бешено бьющимся сердцем. Это был первый поцелуй в его жизни.

— Дай руку, кавалер! — рассердилась она. — Весь сарафан измяла из-за тебя.

Не глядя на нее, Лешка помог ей встать. Она отряхнулась, хмуро сказала:

— А ты еще совсем теленок. Пошли!

Когда они вернулись к САКу, «комиссия» разглядывала Лешкину работу.

— Мазня! — громко сказал Мосин и с презрением плюнул в сторону.

— Научится, — возразил Чугреев. — Теорию он хорошо знает.

— Пусть катит к папе, — не унимался Мосин. — Фраеру тут нечего делать.

— Жалко тебе, что ли? — вступился Яков. — Пусть потрется, шелуху сбросит.

— Отставить разговорчики! — скомандовал Чугреев. — Валюха, сделай снимок этого шва, покажи хлопцу. Для сравнения пусть посмотрит мосинские швы.

С просеки донеслось гудение мотора. Петляя по извилистой дорожке и пыля, к стану приближался газик.

— Смотрите-ка, рыжий прется! — крикнул Яков.

— Странно, — сказал Чугреев, — отпрашивался за ягодами...

Рыжий Николай привез долгожданную весть: на станцию прибыли трубы, два МАЗа и трубоукладчик ТЛ-4. Рабочие возбужденно загалдели. Чугреев поднял руку:

— Ша! Значит так. Надо срочно разгружать. Мосин, Георгий и ты, Яков, готовьте центраторы и лежаки. Валюха, возьмешь Алексея себе, расскажи и покажи. Пусть инструкцию вызудит и сдаст. И чтоб с радиоактивностью не вздумал шалить. Николай! Поедешь со мной на станцию, примешь трубоукладчик. МАЗы с шоферами?

— Так точно, — вытянулся по-солдатски Николай. — Два стройбатовца.

— Отлично! Всем все ясно? Поехали!

Валька взяла Лешку себе. В фотолаборатории она показала ему стол, кюветы, экран — то, что он мельком уже видел. Объяснила, для чего все это и как пользоваться. Потом вытащила из стола плоскую жестяную банку с крышкой и гибкую, но тяжелую кассету.

Лешка слушал потупясь. Его охватывала легкая дрожь. Там, за кустами малины он оробел — это ясно. И Валька, конечно, презирает его за трусость. Теленок, малолетка, недоросток. Но он не трусил — просто ошалел, и сейчас он ей докажет...

— Закрой-ка дверь, — сказала Валька, опускаясь на колени возле банки и кассеты. — Сейчас попробуем зарядить.

Лешка прикрыл дверь — щелкнул замок. В кромешной темноте ощупью пошел к Вальке.

— Смелее, не бойся, — услышал ее насмешливый

голос. Она крепко взяла его за локоть, потянула вниз.
— Вставай на колени, так удобнее.

Руки их соединились на кассете.

— Сначала открывай кассету, ну...

Лешка сосчитал в уме до трех и, ощупью скользнув руками между Валькиных рук, крепко обнял. Валька удивленно охнула. Они стояли на коленях, вплотную друг к другу. Лешка сжимал ее изо всех сил, искал губами ее рот. Она крутила головой, тихо смеялась. Вдруг вся она ответно напружинилась, глубоко и часто задышала и сама — жадно и торопливо — впилась в Лешкины губы.

Далеко, словно где-то в ином мире, затарахтел трактор. Гул мотора сначала нарастал, потом стал слабеть — удаляться.

Валька с трудом оторвалась от Лешки, перевела дыхание.

— Первый раз в жизни целуюсь на коленях, — сказала она смеясь.

— Я тоже, — хрипло прошептал Лешка.

— Ты не умеешь целоваться.

— Я быстро научусь. Покажи...

— Чему вас в школе учат? — Она оттолкнула его от себя. — Хватит баловать в рабочее время. Давай-ка заряжай кассету...

С заряженной кассетой они вышли из вагончика. Лешка захватил по пути спрятанный в яме свинцовый контейнер, похожий на двухпудовку, только потяжелее, с острыми ножками — упорами и никелированной рукояткой на боку.

— Не вздумай поворачивать рукоятку, — строго предупредила Валька, — а то шевелюра вылезет. — Она рассмеялась: — Я лысых не перевариваю.

Они подошли к сваренным Лешкой трубам. Валька катнула их ногой, остановила в таком положении, что шов оказался на земле. Лешка приподнял за край, Валька ловко подсунула под шов кассету, прижала бандажиком. Лешка поставил на трубу контейнер, повернул рукоятку. Валька отсчитала про себя несколько секунд.

— Готово! Бери контейнер, пошли проявлять.

Они снова закрылись в лаборатории, проявляли пленку, хихикали и целовались. Когда закрепленная пленка подсохла, Валька включила экран.

— Вот видишь, темные пятна и крапинки, — показывала она на изображение шва. — Это непровары и шлаковые включения. А эта полоска — трещина. Спешил, значит. Самый страшный дефект. Проходит месяц, два — год. Труба «дышит» — то расширяется летом, то сжимается зимой. Трещина превращается в дыру. Начинается утечка газа. Представляешь, газ месяцами расползается по низинам, заполняет лес, висит удушливой пеленой. И вдруг — бац! — молния или случайная спичка. Вся эта махина взрывается, горит лес, гибнут люди. Города и заводы остаются без газа. А теперь смотри шов Мосина.

Она пошарила в столе, вытащила глянцево-черную пленку.

— Хотя бы эта..

Лешка ахнул. На сером фоне металла трубы тянулась красивая с волнистыми краями однородно-темная полоска. Как он ни всматривался, никаких крапинок не обнаружил.

— Ну, что скажешь, сварщик? — насмешливо спросила Валька.

— Колоссально!

— Мосин очень добросовестный сварщик. Он тебе хоть кверху ногами сварит.

— Подозрительный тип.

— А ты злопамятный мальчишечка. Надо от тебя подальше, — она в шутку отодвинулась от него вместе с табуреткой.

Он обиженно поджал губы, нахохлился.

— Это он злопамятный. Кто-то когда-то обидел — до самой смерти будет на других вымещать.

— Эх ты, — она придвинулась вплотную к нему, приткнулась плечом к плечу. — Вот ты наверняка считаешь себя хорошим человеком, а работник из тебя какой?

— Пока никакой, потому что только начинаю. Важно быть человеком, ремесло дело наживное.

— А ты уверен, что сохранишь в себе человека, наживая ремесло?

— Я? Уверен! Люди в основном из-за страха превращаются в подлецов. А я ничего не боюсь.

Щелкнул тумблер. Лешка вздрогнул. Валька тихо засмеялась.

— Хвастунишка. А в малине-то, забыл?

— Это от неожиданности, — пробормотал он, чувствуя, как краснеет.

После первого «урока» Лешка вернулся в свой вагончик как очумелый. Лицо пылало, губы распухли и казались чужими. Он с трудом забрался на полку, попробовал читать — строчки расплывались перед глазами, мысли путались.

Снилось ему заседание школьного комитета комсомола. В тесной комнатке, бывшей кубовой, набилось полно народу, какие-то все незнакомые ребята с мутными опухшими лицами, с глазами, как прорези для монет. Но самое странное: на секретарском месте не он, Лешка, а Витька и Толька, двоечники, — сидят, примостившись на одном стуле, и в одном на двоих пиджаке. Лешка вглядывается пристальней и узнает свой пиджак — он потрескивает в швах, вот-вот разлезется.

— Зачем вы надели мой костюм? Вам что, холодно? — не выдерживает Лешка.

— Нам не холодно и не жарко, — говорят они одним на двоих голосом. — И это вовсе не костюм, а твоя шкура. Помнишь, ты все кричал: «Посидели бы в моей шкуре, узнали бы, как надо ценить время». Вот мы и сидим.

Вдруг все исчезают, и словно из тумана появляется Валька. Он ясно видит ее крыжовниковые глаза, чуть припухшие губы цвета малинового сока, золотистые — еще бы чуть-чуть — и совсем белые струи прически, упругие груди под голубым сарафаном, к которым так до рези сладко тянется рука...

В самый интересный момент кто-то рывком сдернул с него одеяло. Лешка вскочил, треснулся лбом о потолок, повалился на постель.

— Тихо, ш-ш, — Чугреев прижал палец к губам, — люди спят.

Лешка протер глаза. Солнечные блики ползали по светлому потолку вагончика, в раскрытое окно заглядывала сочная ярко-зеленая лапа лиственницы. Рядом на ветке звонко цыркала трясогузка. Из темного угла, где спал Мосин, доносился храп с присвистыванием. На соседней полке, разинув щербатый рот, посапывал Яков.

Чугреев улыбался.

— Вставай, поедем на станцию, отца встречать.

Лешка подпрыгнул:

— Папку?

— Тихо! Жду в машине. Быстро!

Большой из белой жести умывальник был прибит к лиственнице — за вагончиками, с противоположной стороны от входа. Обегая первый зеленый, Лешка вспомнил о Вальке — вспомнил вдруг, как споткнулся.

Захотелось увидеть ее сейчас же, немедленно, во что бы то ни стало. Он подкрался к окошку, заглянул

внутрь. Постель была не тронута. «Не ночевала!» Как оглушенный, он поплелся к умывальнику. Подстывшая за ночь вода не радовала, картины — одна ужаснее другой возникали в его воображении. Он вытерся подолом рубахи, затрусил к машине.

Павел Сергеевич ждал их на «пятачке» возле сруба. В светлом габардиновом плаще, коричневой шляпе, в пенсне, с портфелем, чемодан у ног — он странным выглядел здесь в городской одежде. Какой-то робкий, помятый, невыспавшийся. Лицо полное, но цвет — бледно-зеленый.

Лешка кинулся к нему — обнялись. Отец чмокнул, как обычно, в висок, потряс за плечи.

Подошел Чугреев, поздоровался.

— С приездом!

— Спасибо. Как жизнь?

— Шуруем помаленьку.

— Ну что, поехали?

— Поехали.

Чугреев отлично водил машину — без рывков, плавно тормозил, вовремя переключал передачи, перегазовку делал так ловко, что Лешка никак не мог уследить.

— Вот у кого учись ездить, — сказал Павел Сергеевич Лешке и пояснил Чугрееву: — А то ко мне все пристает: научи да научи.

Польщенный, Чугреев кивнул:

— Между делом подучу как-нибудь. Сам-то вроде и не учился, сел и сразу поехал. Правда, от немцев драпали, шоферу разнесло череп, а я в кабине сидел. Хошь не хошь поедешь, когда сзади с автоматами бегут. А потом, когда в Польшу вошли, на всяких разных наездился. На «студерах», «виллисах», на «оппелях»— всех и не упомнишь.

Павел Сергеевич слушал рассеянно, все поглядывал в окно — на трассу.

— Какие новости в управлении? — спросил Чугреев.

— Новостей полон рот, что ни день, то новость, — уклончиво ответил Павел Сергеевич.

Давя улыбку и, видимо, не в силах удержаться от вопроса, Чугреев спросил:

— А как там насчет квартирки? Есть какой-нибудь просвет?

— Да, — Павел Сергеевич оживился. — Горсовет наконец-то выделил десять квартир. Дом будут сдавать примерно через месяц. В месткоме уже пыль до потолка — делят.

— Меня там не забудут?

— Ну как же, у тебя вторая или третья очередь.

— Вторая, — уточнил Чугреев.

— Тем более. Правда... — Павел Сергеевич замялся. — Правда, уже нашлись деятели, которые кричат, чтобы не давать Чугрееву квартиру...

— Это почему же? — грозно спросил Чугреев.

— Разнюхали каким-то образом твою семейную историю. У семьи, дескать, есть квартира, а ему одному и общежития хватит. Понял?

— Нет у меня семьи! — сказал Чугреев, повышая голос. — Я не живу с ней с пятьдесят второго года и не собираюсь жить.

— Я-то знаю, другим попробуй докажи, — вздохнул Павел Сергеевич.

Чугреев свирепо уставился на дорогу. Газик рванулся, запрыгал на буграх и яминах, но тут же затормозился — Чугреев взял себя в руки, машина снова покатилась ровно.

— Но вы-то можете замолвить за меня словечко? — спросил он с тревогой и просьбой в голосе. — Уж сколько лет мыкаюсь.

— Конечно, конечно, Михаил Иванович, в этом ты не сомневайся: замолвлю. — Он хотел еще что-то добавить, но вспомнив, что сзади сидит Лешка, перевел разговор на другую тему. — С трубами ты здорово развернулся, — похвалил он Чугреева. — Все разгрузил и уже отбраковал. Я подходил, смотрел. Молодец!

— Да, вместе с Валентиной, почти всю ночь отбраковывали.

Лешка тихо ликовал: Валька всю ночь отбраковывала — значит, все в порядке. Но где же она заночевала? У той же старушки?

— Много браку, — хмуро сказал Чугреев.

— Я знаю, в этой партии много брака. Трубы свалились внезапно. Пока раскрутится сварка на базе, решил подкинуть тебе малость, чтобы ты не простаивал, — пояснил Павел Сергеевич. — В дальнейшем пойдут секции, по две трубы. Будет попроще.

Чугреев одобрительно кивнул.

Вдали, на просеке показались стрелы трубоукладчиков, синий дымок над навесом. Сверкнули окна вагончиков.

Чугреев развернулся на поляне, затормозил у коричневого вагончика. Павел Сергеевич обернулся к Лешке:

— Ну, сына, мы пойдем потолкуем, а ты разберись-ка с чемоданом. Мать там напаковала — жуть! Да напиши письмо, да побыстрее — я через час уеду.

Лешка выволок из машины чемодан, тут же, на траве раскрыл — елки-палки! — доверху забит свертками, коробками, пачками. В растерянности он посидел над ним на корточках, вдыхая запах ванили, сыра, копченостей, решительно захлопнул, потащил к навесу.

У печки, сидя на сосновой чурке, Зинка чистила картошку. Нечесаная и неумытая, она сонными глазами посмотрела на Лешку, зевнула. Он закинул чемодан на стол, рывком перевернул, постучал кулаком по дну. Зинка всплеснула руками:

— Господи, вывалил все. Надо ж было аккуратненько.

Лешка поманил ее, прошептал таинственным тоном:

— Разделишь на всех поровну. Будут спрашивать откуда — молчок.

Павел Сергеевич снял плащ, прошелся по вагончику. Задумчиво провел рукой по корешкам книг на полочке, повернулся, потрогал ружье:

— Охотишься?

— Нет, настрелялся в свое время, до сих пор сыт. Рыбачу.

Чугреев сел к столу, выставил вторую табуретку.

— Садись, Павел Сергеевич.

Усевшись, Павел Сергеевич помолчал, вздохнул, решился:

— Свалилась на нас с тобой, Михаил Иванович, беда. Сверху спущен новый срок — декабрь. Есть правительственное решение по химкомбинату.

Чугреев нахмурился, замотал головой.

— Подожди, не мотай головой. Все твои возражения я знаю и понимаю. Сейчас надо думать не о том, что это невозможно, а как закончить трассу в срок.

— А что тут думать! — с силой сказал Чугреев.

— Подожди, я тебе еще раз повторяю: разговор о трудностях и невозможности — в пользу бедных. Существует только один вариант: пустить газ до пятого декабря. Вот я и приехал, чтобы посоветоваться с тобой, как это сделать.

Чугреев потеребил нос, задумался.

— М-да... Задачка, — протянул он гнусаво. — Двадцать пять стыков в день получается. Два стыка в час, если вкалывать по двенадцать часов. Нормально у Мосина стык варится за полтора-два часа при четырехслойном шве. Вот и считай, Павел Сергеевич, что выходит: тридцать-сорок часов в сутки. Давай еще двух сварщиков, двух прихватчиков, двух слесарей и два сварочных агрегата. И два трубоукладчика с машини-

стами, и по два такелажника к ним. И два вагончика...

— Хватит, хватит, — засмеялся Павел Сергеевич. — Что-то у тебя все двоится сегодня.

— Срок надвое режешь.

— Так это не я — нам режут.

— Я тебя понимаю, но и ты меня пойми.

Павел Сергеевич понимал: конечно, из такой бригады, как у Чугреева, много не выжмешь, но и другое знал Павел Сергеевич по опыту: любой бригадир, тем более такой, как Чугреев, всегда имеет «заначку», резерв и никогда не раскроется и не пустит в дело, пока как следует не прижмешь. В том, что «заначка» есть, Павел Сергеевич не сомневался, но какова она — вот это-то и требовалось определить. Другой на его месте провел бы хронометраж, засек бы фактическое время на сварку одного стыка, проследил бы с карандашом в руке за всеми операциями и таким образом узнал бы все, что требовалось. Узнал бы, но какой ценой! На всю жизнь обидеть бригадира, оттолкнуть недоверием бригаду, вместо живого человеческого взаимопонимания — сухие формальные отношения: раз ты так, то и мы так, от сих и до сих и — не больше. Это наверняка значило бы обречь дело на провал.

— Что же будем делать, Михаил Иванович? Подавать в отставку? — спросил он полушутя — полусерьезно.

Чугреев пожал плечами, усмехнулся:

— Выше головы не прыгнешь.

— Это смотря, как прыгать. Если с трамплина да кувырком, так получается выше головы.

— Ну это в цирке, я же не циркач.

Павел Сергеевич достал «Беломор», предложил Чугрееву — тот нехотя взял папиросу, лениво размял ее, глядя в пол, легонько постучал мундштуком о корявый ноготь большого пальца.

— По проекту заложен четырехслойный шов. Толщина стенки трубы одиннадцать миллиметров. По нормам для такой толщины разрешается шов в три слоя...

Прищурясь, он внимательно посмотрел на Павла Сергеевича, его черные глаза зажглись синими матовыми огнями.

Павел Сергеевич усмехнулся. Хитер бригадир!

— Это ты по моим полкам пошарил, а ты по своим пройдись, по своим.

— А какие мои полки? Расставить людей, следить, чтобы простоев не было, материалами обеспечивать— вот и все мои полки, — небрежным тоном перечислил Чугреев. — За это отвечаю.

Каким-то внутренним чутьем Павел Сергеевич ощутил, что пора прекращать этот разговор — Чугреев уперся, не сдвинешь.

— Ну, ладно, оборудование я тебе кое-какое подкинул, буду еще пробивать. Но прошу тебя, Михаил Иванович, сделай все возможное, чтобы трасса пошла. Вот новый график монтажа, с сегодняшнего дня. Посмотри, подумай. Кровь из носа — надо выполнять.

Чугреев просмотрел график, крякнул, качая головой, сунул листок в стол.

— Я хочу с народом потолковать, — сказал Павел Сергеевич. — Как ты считаешь?

— Вот это правильно, с людьми надо потолковать.

Они вышли на поляну. Восходящее солнце ослепительным пауком сияло сквозь верхушки деревьев. Крыши вагончиков матово блестели — от них подымался парок.

Павел Сергеевич глубоко вдохнул прохладный утренний воздух.

— Эх, красота какая! Начало осени. Природа живет сама по себе, живет, чтобы жить. А мы все выдумываем, усложняем, запутываемся в своих же сетях.

Чугреев промолчал. С просеки, нарастая, доносилось злобное рычание мотора, лязганье металла — первый МАЗ делал свой первый трудный рейс.

Собрание было кратким. Павел Сергеевич рассказал рабочим о важности комбината, а следовательно, и трассы, назвал новый срок и высказал убеждение, что бригада справится с поставленной задачей; рассказал, что по всей стране поднимается новое движение — борьба за коммунистический труд, призвал монтажников тоже включиться в это нужное и важное дело и пожелал всяческих успехов.

Официальная часть кончилась, все заговорили кто о чем. Мосин неловко потоптался возле Павла Сергеевича и, смущаясь, грубовато сказал, что надо бы на два слова.

— Я это... спросить, — начал он запинаясь, когда они отошли в сторонку. — Вы тут насчет звания говорили... Оно как, для всякого любого? Мне, к примеру, можно?

— Почему же нельзя? Пожалуйста.

Мосин нервничал, бил носком землю, тер о штаны потные руки; черный рот его дрожал и кривился не то в улыбке, не то от боли. Он хотел что-то сказать, но, видно, язык не поворачивался. Павел Сергеевич вдруг вспомнил: «Это же тот самый, Мосин!» — и почувствовал острую жалость.

— Вас беспокоит ваше прошлое? — спросил он задушевно.

«Да» — ответил глазами Мосин.

— Но вы же порвали с этим?

— Завязал, — сипло, чуть слышно сказал Мосин, — но у меня «прицеп», то есть, извиняемся, это самое, без права проживания в городах. Два года осталось.

— Но паспорт-то у вас есть?

— А как же, тут, в сундучке. Принесть? — Мосин дернулся было бежать за паспортом, но Павел Сергеевич его остановил.

— Не надо. Верю. Я думаю, что вы тоже можете соревноваться. Возьмите на себя обязательства и выполняйте. Профорг вам объяснит. Это будет очень кстати — придется крепко поработать, чтобы сделать трассу в срок.

Мосин заулыбался, затряс головой, монотонно повторяя «ага, ага, ага».

— А бумагу мне дадут? — спросил он, помявшись.

— Какую бумагу?

— Ну, что я вот такой, со званием.

— Дадут. Чугреев напишет характеристику, местком рассмотрит ваши обязательства и, если вы их выполните, даст.

Мосин отрывисто, странно засмеялся — «хы-хы» — и вперевалочку, как бы приплясывая, покатился к своему САКу.

С письмом подбежал Лешка. Павел Сергеевич обнял его за плечи, повел по поляне. Возле газика они простились. Чугреев завел мотор. Переваливаясь на кочках, газик покатил на просеку. Навстречу ему полз нагруженный трубами МАЗ.

Разгорелся жаркий звонкий день. На поляне лязгал и ревел трубоукладчик, тарахтел САК, грохотали кувалды. Два МАЗа подвозили трубы. Один МАЗ завозил трубы вперед по ходу монтажа, второй разворачивался на поляне. Разгружал его сам Чугреев. Такелажил при нем Яков. Едва МАЗ останавливался, он запрыгивал на прицеп, взбирался на трубы, балансируя ловил стропы с крюками, цеплял один крюк за конец трубы, со вторым перебегал к кабине. В это время Чугреев подавал трубоукладчик вперед. Яков цеплял второй крюк и — вира помалу! Труба дергалась, плыла вверх. Яков делал с трубы сальто, мчался к лежакам. Главное теперь — точно состыковать две трубы, чтобы Гошка мог с ходу приложиться газовой горелкой — прихватить в трех точках. «Майна помалу!

На себя! Влево! Чуть-чуть! Еще чуть-чуть!» Яков как дирижер: правой помахивает «вира-майна», левой трусит «вперед-назад». Чугреев слился с машиной. Глаза на Якове, руки — рычаги, ноги — педали. «Майна до отказа!». Большой палец вверх — зазор на ять! Пока Гошка прилип к стыку, передышка. Труба висит на одном крюке. Чугреев закурил — из кабины пополз синий дымок. Стык прихвачен — Яков отцепил крюк. Чугреев спятился к МАЗу, и все началось сначала.

После каждой разгрузки Яков хватал кувалду, выправлял кромки труб. Лешка тоже пытался выправлять, но никак не мог соразмерить силу удара с величиной неровности. То бил так, что получались лишние вмятины, за которые сыпались от Гошки матерки, то слишком слабо — кувалда отскакивала как резиновая.

Все работали на Мосина. Разгрузка, стыковка, прихватка — вся эта звонкая прелюдия нужна была для быстрого и четкого исполнения главной «партии» — сварки стыков. Мосин был тут как солист в оркестре, как супернападающий в футбольной команде. Варил он быстро, с какой-то даже злостью, с жадной поспешностью набрасываясь на каждый новый стык. Варил, как автомат, — без отдыха, без перекуров. Лишь изредка, откинув щиток, торопливо глотал из алюминиевой кружки холодный квас, смахивал рукавицей пот со лба и снова припадал к стыку.

Лешка был на «подхвате» — то зачищал кромки труб, то помогал Гошке и Якову центровать стыки — ворочал ломом, то подтаскивал Мосину электроды. Работы хватало.

Обедали молча и торопливо. Мосин ел, склонившись над миской, глядя своими сургучными глазами в одну точку: на поляну, на тот стык, который не успел закончить. Щи текли двумя струйками по его подбородку, капали обратно в миску.

После первого Зинка выставила по кружке молока и кастрюлю с гречневой кашей — кто сколько хочет.

Лешка ковырнул пару ложек — отвалился.

— Видно, кто как работал, — усмехнулся Чугреев.

— Я еще не разошелся, — сконфузился Лешка.

— Молодой — научится, — изрек Яков.

— Этот молодой пару кромок мне седни запартачил, — беззлобно сказал Гошка. Тонкое продубленное солнцем лицо его презрительно сморщилось. — Мне такая кувалда ни к чему.

Чугреев подмигнул Лешке;

— Видал как? Рабочий класс режет в глаз.

— А че с ним чикаться? С таким помощничком не то что к пятому декабрю — к маю не кончишь, — равнодушно сказал Гошка.

— Учить надо, — сказал Чугреев.

— А что мы за это будем иметь? — спросил рыжий Николай.

— Бледный вид и тонкую шею, — ответил Гошка.

Яков потянулся к Лешке:

— Все они такие, — кивнул он на Гошку.

— Какие «такие»? — с угрозой спросил Гошка, задержав ложку перед ртом.

— Меркантильные, — невозмутимо пояснил Яков.

Зло поглядывая на Якова, Гошка проглотил кашу. Его разбирало любопытство узнать, что значит «меркантильные», но, видно, постеснялся показывать свою темноту.

— Не слушай этого трепача, Алексей, — сердито сказал Чугреев. — Все, что неясно, подходи, спрашивай — покажут и расскажут. А ты, Яков, — он постучал пальцем по столу, — брось эти свои надменные фокусы. Тебя научили здесь работать, а кто-нибудь взял с тебя хоть копейку?

— Да я же пошутил, Михаил Иванович! — неискренне воскликнул Яков.

— Вот, предупреждаю: сейчас время горячее, цацкаться с тобой не буду. Возьму ремень и отхлещу.

Опустив голову, Яков медленно жевал — каша застревала у него в горле.

Рыжий Николай облизнул ложку, похлопал себя по животу.

— Зинка! Дай-ка барабанные палочки, отбой сыграю.

— Чего тебе? — сунулась к нему Зинка.

— Отставить! Шутить изволили, — загоготал он. — Эх, мать моя мамаша, гречневая каша — люблю обед и мертвый час!

Зинка ткнула его в кудлатый затылок. Он сверкнул на нее зубами, повернулся к Мосину:

— Мосин ест, как деньги считает. Сколь до обеда зашиб?

Мосин выпил молоко, рыгнул, вытер рукавом губы. Все ждали, что он скажет.

— Не твоего рыжего ума дело. Свои считай, — сказал Мосин и поднялся из-за стола. — Зинка, спасибо.

— На здоровье, на здоровье, — закивала всем Зинка.

Весь день Лешка то и дело поглядывал, не покажется ли Валька — так хотелось ее увидеть.

Когда стемнело, и все пошли умываться, он незаметно заскочил в вагончик, схватил фонарик и через кусты рванул на просеку.

Он шел на закат. Просека тянулась к горизонту, как канал с черными отвесными стенами. Впереди, там, куда упирался канал, светилась оранжевая полоска, придавленная базальтово-темной массой неба и сжатая с боков лесом. Темнота сгущалась, полоска меркла, тонула за горизонтом. В просветах между тучами брызнули звезды. Поднялся ветер.

Тусклыми огоньками замигала Лесиха. Запахло дымком, донеслись звуки: тарахтенье движка, гавканье собак, переборы баяна.

Лешка вышел на главную улицу. Желтыми квадратиками окон глядели в темноту черные домишки. На столбах, через один, болтались под ветром неяркие лампочки — вполнакала. Баян сбивчиво, рывками выводил мелодию «Аргентинского танго». Звуки неслись со стороны станции.

Валька танцевала с краю. Водил ее высокий парень в пилотке, так туго перетянутый армейским ремнем, что казался не из рода человеческого, а из отряда членистоногих. «Шофер, — догадался Лешка, — тот самый, похожий на муравья, который подвозил трубы». Валька висела на «муравье», он обнимал ее обеими руками, зарывался носом в ее пышные волосы.

Лешка прокрался к срубу, прижался к темной пахнущей смолой стене.

Танго казалось бесконечным. Баянист беззастенчиво врал, пропускал в переборах целые куски мелодии, упрощая, скрипел неверными аккордами, кое-как добирался до конца, и снова все повторялось с начала. Наконец он заплелся совсем: хотел с ходу перейти на другой танец, но сбился — голоса захлопали одно, басы захрюкали другое. Музыка смолкла, сипло выдохнули меха.

Валька тряхнула головой, томно высвободилась из объятий, медленно пошла к срубу. «Муравей» пристроился сбоку, обнял за талию. Лешка шмыгнул за угол. Они прошли совсем рядом. «Виталий, не шали», — услышал он ее смеющийся шепот и сразу возненавидел это имя.

Баянист заиграл «Андрюшу». Они повернули вдоль домов, скрылись в темноте. Поколебавшись какой-то миг, Лешка крадучись пошел за ними. В проулке черной махиной громоздился МАЗ, дальше светилось окно. Они миновали полосу света, остановились... Заскрипел плетень, Валька отрывисто засмеялась. Лешке

почудилось, будто она сказала: «Ну...» Плетень затрещал, послышалась негромкая возня, сдавленный смех. В доме распахнулось окно, и старческий голос спросил в темноту:

— Валентина?

— Я, — булькающим голосом отозвалась Валька.

— Пора закрывать дверь.

— Закрывайте, бабуся, я пойду на сеновал, там душистее...

— Смотрите, не вздумайте курить, а то я вас, — построжилась старуха и захлопнула окно.

— Пойдем, провожу, — приятным баритоном сказал Виталий. — Сто лет и три года не спал на сеновале...

Пискнула калитка, две слившиеся в одну фигуры, покачиваясь, прошли через двор. Лешка, как слепой, смотрел в темноту. С танцевального пятачка на всю деревню разносились прыгающие разухабистые аккорды.

«Эх, Андрюша, нам ли быть в печали! — горланила молодежь. — Играй, гармонь, играй на все лады. Заиграй, чтобы горы закачались и зашумели зеленые сады. И-эх, Андрюша!..»

Валька приехала на МАЗе — на следующий день, к вечеру. Сверкнув коленками, выскочила из кабины, помахала шоферу. Как девчонка, вприпрыжку побежала к вагончикам.

Лешка успел заметить, что за рулем МАЗа не «муравей», а другой — который подвозил трубы на поляну. Тяжелое проклятье, висевшее над Валькиной головой с прошлой ночи, заметно полегчало, теперь он готов был простить ее...

— Эй, паря! Оглох? — Мосин дернул его за рукав.— Жми за электродами.

Первым делом Валька забежала к Чугрееву. Он сидел за столом, щелкал на счетах — подбивал «бабки».

— Здравствуйте, Михаил Иванович! Вот и я. На станции все закончили. Пятьдесят семь забраковала вдребезги, штук тридцать можно еще исправить, остальные — здесь, — затараторила она.

Чугреев улыбнулся:

— Молодец, стрекоза. Садись, посиди. Я сейчас закончу.

Валька присела к столу. Чугреев перегнал туда-сюда несколько костяшек, ухмыляясь, глянул на Вальку:

— А ты все хорошеешь. Не по дням, а по часам — как в сказке.

— Что это вы говорите, — зарделась она. — В краску вогнали...

— Уж не замуж ли собралась?—гнул свою линию Чугреев. — Женщины обычно к свадьбе хорошеют.

Валька кокетливо засмеялась:

—Что вы! Умру старой девой.

— Неужто так плохи твои дела?

— А за кого тут выходить, в тайге?

— Как за «кого»? Такие орлы вокруг.

— Какие орлы, Михаил Иванович?

— А Пекуньков? А Яков? Тоже жених что надо.

— Орлы... — захохотала Валька. — Петухи ощипанные!

— М-да... Не подходят, значит?

— Не подходят, — смеялась Валька.

Чугреев нахмурился, побарабанил пальцами по столу.

— А что, Валюша, у тебя с мужем? Разошлась?

Валька вспыхнула, опустила глаза.

— Откуда вы знаете?

— Не хочешь, не говори, если это тайна.

— Да нет... почему тайна? Разошлись, два года назад... Он не хотел, чтобы я на трассах работала, ну и... выпивал здорово. А мне нравится здесь — в городе тесно и душно, да и жить негде. В общежитии надоело, на частной — дорого.

Помолчали. Валька теребила кофточку, Чугреев задумчиво пощелкивал костяшками.

— Надоело одной? — тихо спросил он.

Она кивнула, поджала губы.

— Пока бегаешь, крутишься, все кажется нипочем. Но как вспомнишь, подумаешь — двадцать восьмой годик, почти старуха! Жутко становится. Одной страшно оставаться...

— М-да, такова жизнь, — изрек Чугреев. Он встал, прошелся по вагончику, остановился перед зеркалом. — А из наших никто, значит, не подходит?

Валька покачала головой, засмеялась:

— Не в моем вкусе.

Чугреев пригладил виски, провел ладонью по крепкому подбородку.

— А я? — спросил он серьезно. — Орел или петух?

—Вы? — удивилась она, но тотчас спохватившись, кокетливо засмеялась: — Орел, конечно, только... вы ведь не сватаетесь.

Он прошелся туда-сюда, встал над ней — руки в карманах, глаза смеются.

— Боюсь, Валюша, боюсь. Стар, скажешь, некрасив. Нос искусственный, седины полная башка, морда в морщинах...

— Вы напрасно отчаиваетесь, Михаил Иванович. Морщины вам к лицу, и вообще вы очень молодо выглядите — лет на сорок.

— На сорок? — присвистнул он. — Это издалека...

Он склонился к ней:

— А теперь?

Осторожно, словно боясь спугнуть, тронул золотистые струи волос, погладил виски, заглянул в глаза. Валька отвела взгляд.

— Не надо, Михаил Иванович... Войдет кто-нибудь...

Чугреев мрачно уставился в окно.

— Вот что, Валентина, — сказал он сурово. — Я человек одинокий. С женой не живу уже семь лет и жить не собираюсь. Сын в армии, после службы пойдет в институт. Ты меня знаешь. Я тебя — тоже. Ну и... — он потер кулаком нос, —если я орел, а не ощипанный петух... Ты меня поняла?

Она ответила одними ресницами.

Утром Лешка приступил к исполнению своих новых обязанностей: перетаскивать тяжелый контейнер, точно устанавливать его на трубе, принимать к сведению замечания начальницы.

Прошлой ночью он долго не спал и выработал несокрушимую линию жизни. Во-первых, режим: подъем, зарядка, пробежка до речки, купание. Во-вторых, учеба: хоть тресни, прочитать за день десять страниц. И, в-третьих, Валька: поддерживать холодные вежливые отношения.

Сразу после завтрака пошли проявлять вчерашние пленки. Развели свежие растворы, подключили к аккумулятору красный фонарь. Валька была серая и хмурая. Лешка тоже молчал, хотя на языке так и вертелись ехидные вопросики вроде: «Как спалось на душистом сеновале?» или «Виталий, наверное, получше меня целуется?».

Изредка они касались друг друга, то руками, то плечом, и Лешку словно било электрическим током.

— Пойдем, искупнемся, — предложила Валька, когда они промыли пленки и повесили их сушиться.

«Там-то я и скажу ей все», —решил про себя Лешка.

Валька шла впереди — срывала травинки, загадывала: «Петушок или курочка?». Лешка сердито бурчал «Петушок» — Валька посмеивалась. На ней был легкий цветной сарафан в голубых и красных горошинах. Босые ноги с крепкими загорелыми икрами ступали мягко,

пружиняще. Лешка пошел в одних плавках и теперь отхлестывался от комаров.

На прибрежных полянках, заросших бледно-розовой кашкой, дышали крылышками белые бабочки, звенели кузнечики, потрескивали стрекозы. Над обрывчиком, промытом вешними водами, висели кусты черемухи и малины. Пологий песчаный берег был усыпан корягами, черной сосновой корой, щепками.

Горячий песок жег ноги. Мелкая рябь, пробегавшая по реке, искрилась под солнцем и слепила глаза. Далеко, за поворотом шумел перекат.

Валька ловко стянула сарафан, отвернувшись от Лешки, поправила лифчик и плавки. Повизгивая и размахивая руками, пошла в воду. Лешка сел на песок, уткнулся лицом в колени. Валька окунулась несколько раз, вереща от холода, выскочила на берег, побежала к Лешке, обсыпала холодными брызгами — он вскочил. Заикаясь от волнения, выпалил ей все: и про танцы с Виталием, и про сеновал, и про те ужасные дни, которые он провел в муках. Валька, пораженная вначале, расхохоталась, опустилась на песок.

— Господи, какой ты ревнивый и смешной. Но ты мне нравишься.

— Тебе смешно, а я.... а я... — спазмы сдавили ему горло, он отвернулся.

Она схватила его за руку, сильно потянула вниз—он упал на колени.

— Ну...

Застучало в висках — ее губы, полураскрытые, ароматные, дрожали, улыбались совсем рядом — чуть вытянуть шею и... И он потянулся к ним, нашел их трепетный холодок, почувствовал ее всю — мокрую, холодную, жаркую... И вдруг обмяк, вырвался из ее рук, ткнулся лицом в песок, застонал от стыда.

Валька поплескалась в реке, надела сарафан, тихо присела рядом.

— Лешенька... это ничего. Слышишь? — она ласково потрепала его спутанные волосы, погладила по плечу. — Не надо, это бывает.

Он откатился от нее, вскочил и бросился бежать.

4

Прошла неделя. На базе наладилась сварка секций. Два каллистовских МАЗа и две полуторки СМУ-2 день и ночь, в две смены развозили секции по трассе. Ежедневно, по вечерам Чугреев коротко радировал о результатах: девять стыков, десять стыков, одиннадцать. Павел Сергеевич с волнением, как азартный игрок, отмечал по карте шаги бригады за день: двести шестнадцать метров, двести сорок метров, двести шестьдесят четыре метра... Ему стало ясно, что при таких темпах срок будет сорван — шагать надо по шестьсот метров в день! Он созвал совещание, собрались бригадиры, подошли парторг и председатель месткома. Павел Сергеевич надеялся услышать совет, какое-нибудь дельное предложение бывалых людей, но бригадиры недовольно ворчали: «У самих невпроворот, крутимся как вошь на гребешке», — и советовали жаловаться в трест: «Раз сунули трассу, пускай и обеспечивают». Парторг предлагал обратиться в обком.

Трест далеко, главк еще дальше, времени в обрез— Павел Сергеевич решил идти в обком. Написав короткую, но обстоятельную записку, он в тот же день встретился с заведующим промышленным отделом. Полный, лысеющий, приятный, в изумительно сшитом костюме, с тремя рядами орденских планок, Кондратий Лукич очень коротко, но доходчиво, со знанием дела, объяснил значение комбината для страны, полюбопытствовал, как движется строительство трассы, и, когда услышал о затруднениях СМУ-2, удивленно вскинул седую бровь. Изящным шариковым карандашиком сделал несколько пометок в своем большом настольном календаре и, взяв «Записку» Павла Сергеевича, сухо пообещал подумать и принять меры.

На другой день позвонил Каллистов:

— Ты, что же, растуды твою, делаешь?

— А что? — задиристо спросил Павел Сергеевич, уязвленный таким грубым тоном.

— Зачем полез в обком?

— Ну, и что же? Я по своим делам...

— Никаких твоих дел у тебя нет,—резко оборвал Каллистов. Голос его рокотал и звенел. — Я заказчик, я веду все дела, изволь мне в первую очередь докладывать о твоих делах, — сказал он с издевкой.

— Да что случилось? Чего ты орешь? — взъелся и Павел Сергеевич.

— Ты или наивный простачок, или хитрый идиот. Я, понимаешь, докладываю в обкоме, что все в порядке, они докладывают в ЦК, а тут вдруг является какой-то Ерошев и—на тебе: ничего нет, все туфта, все липа.

Кусая губы и стискивая потной рукой трубку, Павел Сергеевич слушал, как тяжело и отрывисто дышит Каллистов.

— Честное слово, Федор Захарович, не думал, — начал он, но Каллистов перебил:

— Не думал! Ты знаешь, как запросто сейчас припаять «очковтирательство»? Твою записку к моим отчетам и — в суд.

— Что же делать? — растерялся Павел Сергеевич.— Может, сходить, попросить, чтобы вернул?

— На пять тридцать вызывает в обком.

— Тебя?

— И тебя.

Кондратий Лукич встретил их приятной улыбкой, предложил кресла и тут же приступил к делу.

— Вы хорошо сделали, товарищ Ерошев, что пришли вчера. Нам нужна объективная и точная информация. Зачем обманывать самих себя? — сказал он, метнув на Каллистова быстрый взгляд. — Это первый вопрос, который, я надеюсь, вам, — кивок Павлу Сергеевичу, — предельно ясен.

— Да, да, — пробормотал Павел Сергеевич.

— Второй вопрос касается фактического выполнения графика монтажа газопровода, — говоря это, он одновременно двумя пальцами перебирал бумаги в раскрытой папке и точно к окончанию фразы извлек листочек с графиком монтажа. — Это ваша подпись?

Павел Сергеевич привстал, вгляделся, хотя и так знал, что никакого подвоха быть не может.

— Да, это моя подпись.

Кондратий Лукич усмехнулся краешком рта:

— Подписывали, чтобы подписать или чтобы выполнять?

— Чтобы выполнять, конечно.

— Демагогию тут разводить нечего, — Кондратий Лукич мягко положил на график обе ладони. — Вы человек взрослый, ответственный. Поставили свою подпись, извольте выполнять. Предупреждаю: мы не можем быть добренькими. Если первый месяц будет завален, отстраним от должности и наложим взыскание. Это вам тоже предельно ясно.

Он встал, — прямой, высокий, — неторопливо прошелся по цветным клеткам линолеума к большому сейфу в углу, между окном и широким, застекленным книжным шкафом с бордовыми томами Ленина, открыл и, взяв какой-то листок, вернулся не спеша к столу.

— Что касается ваших затруднений, товарищ Ерошев,

— он приподнял двумя руками листок, который только что достал из сейфа, — то, надеюсь, вы разберетесь вместе. Федор Захарыч вас выручит. Не так ли?

Впервые за время разговора Каллистов поднял глаза от пола и, приняв из рук Кондратия Лукича «Записку», едва заметно кивнул.

— И в заключение беседы хочу вас информировать о том, что мы сочли необходимым освободить товарища Каллистова от отчетности по трассе и поручаем вам, товарищ Ерошев, раз в неделю докладывать о ходе выполнения графика. Телефон мой у вас есть?

— Да.

Кондратий Лукич поднялся из-за стола, пожал руки:

— Не смею вас задерживать. Желаю успехов.

Когда вышли в коридор, Каллистов, скрипя зубами, нервно разорвал «Записку» в мелкие клочья, швырнул в урну.

— Вот что, Павел, — сказал он неожиданно мягко,— ты порядочный человек, я тебя уважаю, но, поверь, ничем не могу помочь. Выкручивайся как-нибудь. Срывай остальные работы, брось все силы на трассу.

— Да что бросать?! — с отчаянием в голосе воскликнул Павел Сергеевич. — Последние трубоукладчики отправил. Все сварщики на базе и у Чугреева. Плотники да землекопы остались.

Каллистов вздохнул, развел руками:

— Придумай что-нибудь.

Уставший, измочаленный за день, Павел Сергеевич решил пройтись по набережной. Крюк немалый, но черт его дери! — нервы успокоятся.

Широкая и быстрая река шуршала и поплескивала за бетонным парапетом — у берега прозрачная, зеленоватая, а дальше, на разливе — в маслянистых полосах заката. На той стороне реки, как остов искареженного догорающего корабля, чернела стройка Каллистова —торчащие трубы, стрелы кранов, ребристые каркасы зданий, тонкие, как иглы, колонны. Задымленное потрескавшееся солнце косматым шаром сползало на эти острые обломки и заливало горизонт темной огненной кровью.

Глядя на зловещий закат, на резкие изломы черных линий стройки, он с грустью думал: «Да, видно, подползла пора щелкнуть костяшками— подбить «сальдо-бульдо». В сорок два года признать, что жизнь доехала до макушки и покатилась под горку. Да, теперь уж можно оценить себя без честолюбивых галлюцинаций юности. Дело не в том, что не вышел под крупного начальника — дело в том, что на этом жизненном перевале приходится признать горькую истину: работа, которой занимался всю жизнь, опостылела. «Всю жизнь» — страшные слова. Всю жизнь — стройка за стройкой, как цепь — звено к звену с перехлестом. Сроки, сроки, сроки — давай, давай, давай, — вся жизнь в этих железных петлях. Втянулся, привык, как лошадь к хомуту, — вез не размышляя, нравится или не нравится, интересно или тоскливо...

После окончания института Павел Сергеевич получил направление в Новосибирск — строить прекрасный мраморный город. Приехал в тот день, когда у призывных пунктов уже стояли длинные угрюмые очереди, на здании штаба СибВО устанавливали зенитные пулеметы. С утра хлестал дождь, днем похолодало — ударил град. Павел Сергеевич сутки не мог пробиться к начальнику стройуправления. Клава с трехмесячным Лешкой маялась на вокзале. Только на второй день получили комнату в бараке, в Кривощеково, на левом берегу Оби. Попросился на фронт — забронировали, сказали, что здесь нужнее, с ходу назначили прорабом по эвакуированным заводам.

С осени начали прибывать станки, прессы, печи, двигатели. Цехов не было. Оборудование расставляли на пустырях, строили дощатые сараи. Электрики волокли кабели, подключали, запускали — готово! Потом над гудящими станками возводили кирпичные стены, клали балки, крыли крышу. Станки один за другим на веревках перетаскивали на бетонные фундаменты, застилали земляной пол досками. Куда там до строительных норм и правил! Ни в одной книжке не найдешь таких способов строительства.

Поначалу Павел Сергеевич упирался, не принимал от бригадиров работу — брак, недоделки, бетон не тот, рыхлый; стены завалены, раствор жидковат — кладка сядет. Бегал с утра до ночи, ругался осипшим голосом, заставлял переделывать. Домой возвращался чуть живой — мокрый, холодный, с голодным блеском воспаленных глаз. Приносил вязаночку обрезков на растопку. Лешка жестоко болел: ветрянка, диспепсия, коклюш. Клава выла по ночам — застудила грудь, маялась грудницей. Барак продувало как шалаш, вязанки хватало на несколько часов — к утру в ведре намерзала корочка льда.

Однажды его вызвал начальник управления — брови в нитку, глаза обварены недосыпанием.

— Ты почему срываешь сроки, так твою разэдак!

— Пусть делают как положено.

— Положено быстро, война не ждет.

— Значит, я мешаю. Отпустите на фронт.

— Нет, ты нужен здесь.

— Тогда не понимаю.

— Башкой работай, не одним горлом. Жми на качество, но сроки не срывай.

— Значит, пропускать брак, закрывать глаза на недоделки?

— Без тебя будет еще хуже. Понял? Иди, работай. Еще раз сорвешь срок, отдам под суд.

Вернулся на участок, лег в хибарке-теплушке на лавку, вперился в стенку: что делать, как быть? Вдруг слышит — тук-шарк, тук-шарк — бригадир Кудрин, тихий, задумчивый мужичок с деревяшкой под правым бедрос, подковылял, встал над лавкой, хмыкнул:

— Ну че, паря, дособачился? Так-то. Ты б лучше это, присмотрел, кто на бетоне, кто на опалубке. Девки с бабами да пискуны-ремеслуха с полудурками — сброд святых и нищих. Люди опять же — не зверьки. А насчет того, что «надо», так это всю жисть «надо», сколь помню себя, все «надо». А человек-то живой — не казенный. В окопе и то по рюмке водки дают. А тут не получше. В обчем, присмотрись, паря, а то хм... так казенной собакой и останешься на всю жисть.

Присмотрелся, и верно. Перестал драть горло, сам стал класть стены, разводить цемент, замешивать бетон — учить тощих неуклюжих подростков из «ремеслухи». И бригадиры подобрели, на сало с луком заприглашали. Это сало он приносил домой, подкармливал Клаву. И «ремеслуха» переменилась: ребятишки раздобыли где-то лошадь, привезли к бараку целый воз обрезков. Клава выменивала дровишки на молоко — этим молочком и выходили Лешку.

О мраморных городах пришлось позабыть. В сорок третьем, как он ни отказывался, его перевели на спецстройку — прорабом в зону, на строительство кирпичного завода.

Он писал рапорт за рапортом. Наконец, разрешили уволиться — переехал вместе с семьей еще дальше в глубь Сибири. Здесь его приняли на должность начальника городского управления «Тепловодоканализация» и дали квартиру. Потом управление перешло в трест «Теплогазосетьстрой». Сменилась вывеска — работа осталась та же: те же трассы, те же заботы. Десять лет — мешанина из трескучих утомительно однообразных дней, наполненных телефонными звонками,

многоречивой говорильней совещаний, торопливой беготней туда-сюда, куда и не упомнишь, за чем-то вроде важным, до зарезу нужным — достать чего-то, кого-то упросить, чтобы дали что-то, успеть, не опоздать, не упустить... Но были и острые моменты, как в сорок девятом... Все лето и всю осень тянули первую в городе теплотрассу к новому жилому кварталу. Рабочих мало, техника — лом, кайла да лопата. Трубы поднимали на веревках — эй, ухнем! А срок, как всегда, железный: кровь из носа, — к седьмому ноября. Как ни упирались, к седьмому не вышло. Перенесли срок на пятое декабря. Сделали бы, но вдруг выяснилось, что на базе кончились трубы нужного диаметра — остались в два раза тоньше, хотя по ведомостям числились как большие. Пока разбирались, пока писали жалобы и рекламации, подкатило пятое декабря — труб не было. Вызвали в горком. «Вот тебе, говорят, десять дней и ночей — чтобы к двадцать первому декабря кончил». Объяснил положение с трубами — не класть же меньшего сечения. «Клади, говорят. Трассу включили в областной рапорт». Он уперся: при наших сибирских зимах это значит оставить людей без тепла. «Клади, говорят, потом заменишь». Дальше — больше, раскричались: «Вы срываете пункт рапорта, проявляете наплевизм на решение вышестоящих органов». — «Людям нужно тепло, а не дутый рапорт». — «Вон вы как заговорили. Ох, Ерошев, пожалеешь, горько пожалеешь об этой своей политической близорукости. Хотя надо еще разобраться, что это такое...». Разбирались на бюро. Трассу из рапорта исключили, а ему закатили выговор...

Жизнь Павла Сергеевича резко делилась на две части: работа — грубая, грязная, изматывающая, и дом — мягкая, любящая жена, прекрасный сын, тепло, спокойствие, радость. И как бы ни было тяжело, грязно, грубо на работе, он никогда не вносил эту ношу в дом — сбрасывал у порога.

Нынче ноша была непомерно тяжела. Прижавшись лбом к холодной двери, он долго стоял, как пьяный, покачивая головой, не в силах поднять руки, чтобы вставить в замок ключ и повернуть. Внизу, в подъезде, раздались голоса — он встряхнулся, поправил пенсне, открыл дверь.

Из комнаты торопливо вышла Клава. Всю неделю она была холодна, держалась отчужденно, спала в Лешкиной комнате. Павел Сергеевич сразу заметил, что сегодня наступило потепление: глаза смотрели мягко, по-родному, чуть виновато. «Славу богу, — подумал он облегченно. — Хоть дома наладится».

— От Лешеньки письмо, — улыбаясь, сказала она. — У него все хорошо. Кушать будешь? Я голубцы сделала.

— О! Сегодня у нас двойной праздник. — Клава знала, что голубцы его любимое кушанье. Он притянул ее, ласково погладил по щеке. — Даже тройной — да?

Она вспыхнула, залилась румянцем, похлопала ладошками по его груди.

— Читай письмо, я подогрею голубцы.

Он вошел в столовую, самую большую из трех комнат, в которой, кроме круглого стола на точеных, как кегли, ножках и потертого дерматинового дивана, располагался широченный, во всю стену шкаф, снизу доверху заставленный книгами. Письмо белело тремя флажками на диване — как знаки препинания — три ученических листка, исписанные Лешкиной рукой.

«Здравствуйте, дорогие мои папа и мама! Вот когда началась настоящая работа. Мы все время движемся. Два раза переезжали на новые поляны. Сейчас остановились на такой ровной и большой — хоть гоняй футбол. Только нам не до футбола. Как здесь говорят, вкалываем от восхода до заката. Я все так же проверяю швы, а в промежутках расчищаю траншею от завалов, выправляю и драю кромки. Овладел «самым главным» инструментом — кувалдой. Гошка подучивает меня газовой сварке, раза три давал прихватывать стыки. Ничего парень, когда не пьет.

Я все думаю, как нам ускорить это дело. Все-таки ужасно много ручного, первобытного труда, который способен превратить человека в обезьяну. Я драил, драил эти подлые кромки, разозлился и придумал приспособление: гнутая обойма с пазом, внутри куски старого наждачного круга, а сверху на обойме ручка, чтобы держать. Придумал, нарисовал и сам по вечерам сварил из обрезков трубы. Хорошая штука получилась как шоркнешь, так сразу полкромки блестит. Чугреев, посмотрел, похвалил, сказал, чтобы я подавал рацпредложение, но мне все некогда. Мосин задал такой темп, что все в мыле. Варит как машина и ничего ему больше не надо. Странный какой-то, угрюмый, ничем, кроме сварки, не интересуется. Наверное, того, кто там побывал, уже ничего не волнует. Я как-то взял подсчитал, сколько ему предстоит сварить, если все его будущие швы вытянуть в одну линию. Задачка простая: шов четырехслойный, значит, длину окружности трубы надо умножить на четыре и еще на количество стыков. Получилось пятнадцать километров! Я поразился, сказал ему об этом, а он этак тупо кивнул — «Сварим». Ужасно любопытно узнать, за что он сидел, но неловко бередить рану.

Недавно приезжал куратор Каллистова, Тимофей Васильевич, маленький толстенький, как шарик, смешной такой, все с прибаутками. Облазил с Чугреевым все стыки, потом опрессовали плеть. Я стоял у манометра, записывал показатели. Течи не было. Закрывали процентовку — по этому поводу все крепко выпили. Теперь мне понятно, почему работяги так здорово пьют — это своего рода разрядка, без нее можно тронуться умом.

Одно время мне было ужасно тяжело и тоскливо — не по работе, а так, по другой причине. Выручил Киплинг. Много думаю, что такое человек и вообще, мы — люди. Яков считает, что так как наши предки — обезьяны и первобытники — не обладали подлостью, а мы обладаем, то подлость это результат прогресса, накопление поколений. Дескать, подлость растет, развивается вместе с обществом, потому что она такая же вечная отличительная черта людей, как доброта, жестокость, глупость. Он все пытается наставить на «путь истинный», раскрыть глаза. А мне смешно, именно его надо наставлять. Я ему говорю: «Вот у тебя будут дети. Ты как их будешь воспитывать, чтобы они выросли подлецами или хорошими людьми?». А он говорит: «Я вообще не буду их воспитывать. Пусть в них сохранится природное начало». «Тогда они вырастут дикарями», — говорю я. «Ничего подобного. Я им буду давать знания по всем наукам. Они будут превосходно образованы и первобытно чисты и непосредственны». В общем, зарапортовался, но парень хороший. Все зовут его тунеядцем, а он вкалывает за двоих.

Ужасно соскучился без вас. Так хочется посидеть на нашем стареньком диване, сразиться с тобой, папка, в шахматы. Или поиграть в мушкетеров — помнишь? Смешное было время. Я теперь уже взрослый...

Ну, пока. Николай едет в Лесиху, торопит — крепко обнимаю, ваш Алексей».

Он замер, устало улыбаясь, прислушался к звенящей пустоте внутри себя — ни мыслей, ни движений, как будто оцепенело все. И вдруг: «А шов-то четырехслойный»... Он встал, на цыпочках подкрался к шкафу, боязливо оглядываясь на дверь, словно собирался сделать нечто постыдное, вытащил небольшую книжицу —«Расчет на прочность сварных соединений». Раскрыл...

— Павлуша! — донеслось из кухни.— Иди обедать...

Он вздрогнул, торопливо сунул книгу на место...

Есть не хотелось, но чтобы не обидеть Клаву, съел

три голубца. Ел, нахваливал, пытался шутливо комментировать Лешкино письмо, но вдруг задумывался: «А шов-то четырехслойный!»

— Ты мне не нравишься сегодня,—сказала Клава.— У тебя такой усталый вид. Ты заболел?

— Да что ты, Клавчик? Здоров, как бык. — «А шов-то четырехслойный».

— Я чувствую, ты вымотался. Тебе обязательно надо отдохнуть. Знаешь, — она помолчала, улыбаясь, — я отказалась от гарнитура. Жили двадцать лет и еще столько проживем. Не в гарнитурах счастье, правда? Возьми лучше путевку куда-нибудь.

Павел Сергеевич рассмеялся, выгреб из карманов пачки денег. Она всплеснула руками, заругалась на него, потребовала, чтобы немедленно, завтра же брал отпуск и ехал отдыхать. Он только грустно вздохнул— «Какой может быть отпуск!». Они поспорили — он убедил ее покупать гарнитур.

Клава заснула как обычно легко и быстро, свернувшись мягким теплым калачиком. Павлу Сергеевичу не спалось. Он думал, глядя в серый покачивающийся потолок. Уйти бы, уволиться, устал... Но трасса, трасса, трасса. Уйти можно только с треском, с позором. А что будет с Лешкой, с Клавой? Мгновенно все развалится — «все», державшееся на его авторитете честного, порядочного человека. «Значит, ты неправильно жил, значит, твоя мораль фальшива, оторвана от жизни и зиждется на песке», — может быть, они и не скажут так, но почувствуют, поймут, подумают. А это — катастрофа...

Клава вздохнула во сне, погладила его плечо, пробормотала что-то, улыбаясь сонно и счастливо, как девочка. Его обожгло это ее ласковое прикосновение. Он ощутил, как что-то закипело в нем в этот момент, накалилось докрасна и перегорело, обдав глаза и сердце чем-то расплавленным и едким.

Осторожно, стараясь не разбудить жену, он встал, на цыпочках прошел в столовую. Взял с полки книгу «Расчет на прочность сварных соединений», нашел бумагу, карандаш, логарифмическую линейку. Часам к трем ночи работа была кончена. Он аккуратно переписал расчеты, засунул их в карман пиджака.

В десять часов утра состоялся сеанс радиосвязи с Чугреевым. Павел Сергеевич приказал срочно сварить два пробных стыка — с четырехслойным и трехслойным швами — вырезать образцы для лабораторных испытаний и к обеденному поезду привезти на станцию. Чугреев по-военному ответил: «Есть!» Павел Сергеевич немедленно отправился на вокзал.

День был пасмурный, накрапывал дождь. Березняки, подернутые желтизной, резко выделялись среди темно-зеленых сосен. Картофельная ботва на огородах побурела, повяла; полег бурьян вдоль тропинки, пахло мокрой землей, грибами, осенью. Возле потемневшего от сырости недостроенного сруба стоял газик, заляпанный грязью. Чугреев, не ожидавший ничего доброго от приезда начальства, хмуро предложил сесть в машину. С холодной решимостью Павел Сергеевич начал разговор.

— Ты заваливаешь график. Так дело не пойдет, — сказал он, отчеканивая каждое слово, но видя, что Чугреев сразу вскипел и вот-вот взорвется, заговорил мягче: — Не думай, я все понимаю — не идиот. Бригада трудится хорошо, больше из нее не выжмешь. Помочь я ничем пока не могу. Остается один путь... — Он вытащил расчеты, повертел их в руках, сообразил, что Чугрееву они ни к чему, сунул в карман. — Я проверил на прочность трехслойный шов — проходит. Эти расчеты пошлю в проектную организацию для обоснования, а пока давай журнал, напишу тебе распоряжение.

Чугреев торопливо, словно боясь, что начальник передумает, подал потертый, в масляных пятнах журнал учета работ.

— Но это не все, — сказал Павел Сергеевич, возвращая Чугрееву журнал. — При трехслойном шве шаг бригады увеличивается до пятисот метров в день. А сколько надо?

— Шестьсот.

— Сто метров за тобой. Трехслойный шов имеет запас... Передай Мосину и другим: кроме моего сына, всех оформлю на временную работу к Каллистову — это сверх официального заработка. Ты меня понял?

Ссутулясь, Чугреев мрачно глядел в пол. Черные корявые пальцы его впились в колени, острые черные глаза то сужались, то расширялись — словно дышали. Плавно загнутый книзу нос, казалось, сливался с тонкими плотно сжатыми губами.

— Что же ты молчишь, бригадир? — спросил Павел Сергеевич. — Да или нет?

— А если «нет»... — гнусавя сказал Чугреев, и трудно было понять, то ли он спрашивает, то ли отвечает.

— Если «нет»... — Павел Сергеевич нервно вздохнул. Ему до отвращения противен был весь этот разговор. Никогда до сих пор он никого не запугивал и не подкупал. Он всегда просил, объяснял, убеждал, и люди делали. — Если «нет», — повторил он и отвел глаза. — Горит твоя квартира.

Чугреева затрясло, на скулах обозначились белые пятна. Он стукнул кулаком по баранке.

— Три года осталось до пенсии!

— Не горячись. Мне двенадцать, но я не стучу кулаками.

— Так какого...

— А вот такого! — перебил его Павел Сергеевич. — Наверное, там тоже думали головой — не дурнее нас с тобой. Надо, значит надо. Кровь из носа, а сделай — значит действительно надо. Мы со своей колокольни смотрим, а у них повыше.

Павел Сергеевич посмотрел на часы.

— Ну, мне пора. Потолкуй с людьми, они поймут. Давай образцы.

Чугреев протянул ему два скрученных проволокой куска трубы, крякнул, почесал кулаком нос:

— Двадцать пять стыков в день — обалдеть можно.

— Нажимай на сварку и монтаж. Засыпку траншей сделаем потом. Ну, бригадир, по рукам?

Чугреев нехотя подал руку.

5

Лобовое стекло покрылось мелкими каплями дождя, стало рябым, мутным. Чугреев включил стеклоочистители. Резиновые «дворники» скрипуче зашоркали по стеклу, размазывая и постепенно сгоняя грязь. Слева, опускаясь в низину и полого поднимаясь с просекой, тянулась бурая труба газопровода. Справа, то придвигаясь, то отдаляясь и как бы поворачиваясь, проплывала черная стена мокрого леса. Газик полз юзом, мотался из стороны в сторону, соскальзывал в ямины, залитые водой.

Чугреев управлял машинально, перебирая в уме разговор с Ерошевым и кляня себя, что не поспорил, не поглотничал, сломался от первого нажима. Приходили слова — злые, хлесткие, правильные, но поздно. Теперь надо было думать, как все это организовать.

Он предугадывал, что скажет ему Мосин и как упрется вначале, но твердо знал, на чем надо сыграть,

чтобы он покорился. Знал он и то, как «прочно, наглухо» заставить молчать Вальку. Остальные его не беспокоили. Все заранее предвидел и знал Чугреев, и так ему было противно — и от этого знания, и от того, что предстояло совершить, — что он тихо матерился сквозь зубы.

Жизнь его пошла наперекосяк с промозглой слякотной осени 1929 года, когда волна сплошной коллективизации докатилась и до Кузнецкого уезда. Отец уперся, подрался с секретарем комячейки ГПУ — дело перенесли в город, решила тройка: раскулачить, выслать. В несколько дней расшаталась, разрушилась и пала прахом вся прежняя жизнь. Все съежилось, обледенело, захлопнулось — осталась узкая тропинка, в Якутию.

В Якутске на первое время приютил известный на весь край скопец Лазаренко. За скудные харчи и угол в его огромном пятистенном доме с утра до вечера горбатились на парниках и огородах. Богат был, умен скопец и образован — Петербургский университет кончил до оскопления, — но жаден был, и потому недолго задерживались в его хозяйстве люди.

Тихая, пришибленная работящая семья Чугреевых пришлась скопцу по душе. Мишка и Сенька хотели учиться, он предложил им сговор: он будет учить их всему, что знает сам, но чтобы они доухаживали его до последнего часа. Обещал также завещать им все свое добро. Братья согласились, и он отвалил им задаток: холщовый величиной в ладонь мешочек золотого песка. На это золото поставили избу из лиственничных бревен, вываренных в смоле, завели корову и лошадь.

За два года Лазаренко преподал братьям курс истории государства российского, сведения по астрономии, геометрии, физике. Взялся было учить их латыни, но братья отказались. Чем сильнее старел Лазаренко, тем тошнее становились его капризы. Захочет вдруг среди ночи шампанского и гонит с запиской к бывшему купцу Ширяеву. Или позовет якобы для учебы, а сам начинает своим бабьим голосом рассказывать в который раз, как его, в дым проигравшегося в карты, заманили в секту скопцов и в Пскове насильно оскопили. А то запрется в своем кабинете, высыплет на ковер золотые червонцы из кожаных чулочков, ляжет на них голый, катается, подгребает под себя, обсыпается, повизгивает, как щекотливая девка. Сенька подсмотрел как-то, загорелся этим золотом, дождусь, говорит, я этих червонцев. Михаил плюнул, нанялся в контору развозить почту. На собаках, на оленях, пять зим гонял через всю Якутию на Чукотку. Пурговал по четверо-пятеро суток под нартами и в урасе. Ночевал у якутов-скотоводов, которые сулили все свои оленьи стада, все золото тайги — упрашивали остаться мужем красавиц дочерей. Он спал со всеми с ними по очереди, пил подносимый якутами спирт, но снова запрягал собак и катил от стойбища до стойбища через великую снежную пустыню. Когда надоело мотаться, осел в Якутске, женился на красивой русской девахе Варе, отбив ее у брата. В новом доме родился сын — зажили неплохо. Два года проработал плотником на строительстве электростанции, по первой мобилизации ушел на фронт. Ушел на Запад, а вернулся с Востока — матерым, тупоносым, молчаливым, с тремя звездочками на зеленых погонах. И дома все переменилось: померли мать, отец, жена прижила с братом дочку и третий год мыкалась одна с детьми. Темным, низким, грязным показался прежде высокий и светлый дом. Но страшнее дома была жена — растолстевшая, униженно предупредительная, с дряблым нездоровым лицом, с тошнотным запахом из вечно нечищенного рта...

Он затосковал, запил, неделями не появлялся дома — шатался по каким-то встречным поперечным дружкам-приятелям, пока не пропил все деньги за демобилизацию. А после уехал с пушным обозом в Иркутск. Работал шофером, механиком, прорабом на стройке ТЭЦ в Ангарске, после аварии чуть не угодил в зэки, но выкрутился. Уволился, сезон шоферил в леспромхозе и, наконец, попал в СМУ-2. Ерошев дал квартиру в двухэтажном старом доме, приехала жена с детьми — чужая, темная, измученная ожиданием. Два года привыкали друг к другу, но так и не привыкли. Ушел. Шесть лет мотался по частным комнатушкам, по общежитиям, хотел жениться — расстроилось, к ее родителям в дом не пошел, а своего не было. Когда узнал о строительстве газопровода, сам напросился, думал перебиться, пока подходит очередь на жилье. Но главное, надеялся, что здесь, в лесу найдет спокойствие чтобы пристально всмотреться в себя, обдумать свою утекающую сквозь пальцы жизнь и принять какое-то важное решение. Думал, надеялся — на тебе: кто-то где-то прокукарекал, а тут хоть не светай. И так превратился в погонщика, с утра до ночи следил, чтобы ни минуты лишней не терялось, а теперь что же...

Он бросил газик на поляне, пошел к траншее, ступая по выдавленному в земле браслету — отпечаткам гусеницы. Ободранные и пригнутые березки, так и не оправившись, завяли и пронзительно желтели на ярко-зеленой мокрой траве.

Два трубоукладчика перли на весу секцию: две трубы, сваренные встык. Перебинтованная бумажной изоляцией, она прогибалась под собственным весом, покачивалась и напоминала кусок толстенного кабеля. Яков бегал вдоль траншеи, выравнивал лежаки-бревна, на которые уляжется секция. Возле соседней секции тарахтел САК. Мосин варил, укрывшись под брезентовым пологом. Внутренность палатки освещалась синим яростным светом, черная сутулая тень трепыхалась в голубом дыму.

Чугреев свистнул, подергал сварочный провод. Треск оборвался. Мосин выглянул наружу, уставился на бригадира красными усталыми глазами.

— Вылазь, покурим, разговор есть, — сказал Чугреев, доставая папиросы.

Мосин вылез со своими «гвоздиками», сунул рукавицы за штаны, торопливо прикурил, вздрагивая руками.

— Есть распоряжение, — Чугреев раскрыл журнал, ткнул пальцем, — вот. С этого дня будешь гнать трехслойный шов. Ерошев там вроде рассчитывал, проходит с запасом.

Мосин вытер рубахой слезящиеся глаза, долго читал распоряжение, поскреб в затылке.

— Та-а-к, — протянул он, наконец, возвращая Чугрееву журнал. — А эти, — кивнул на Вальку и Лешку, возившихся у соседнего стыка, — как?

— Никак. Вот, — Чугреев тряхнул журналом, — прочитают, распишутся. Их дело такое.

— Ладнысь. — Мосин выплюнул окурок, подтянул штаны, собрался было юркнуть под полог, но Чугреев цапнул его за руку:

— Постой. Разговор не кончен. — Он взял его за отвороты рубахи, притянул поближе, заговорил, понизив голос. — При трехслойном шве ты будешь выгонять двадцать стыков в день. Так? — Мосин закатил один глаз, подумал, кивнул. Чугреев глянул через плечо туда-сюда, не столько боясь кого-то, сколько давая понять Мосину, что разговор сугубо между ними. — Надо, слышь, двадцать пять выгонять.

— Кто сказал? — быстро спросил Мосин.

— Я сказал, — помедлив, с упором на «я», сказал Чугреев.

Мосин отодвинулся от него с какой-то болезненной гримасой.

— Двадцать пять не выйдет.

— Увеличишь силу тока — выйдет.

— Шов зарежу.

— Не зарежешь. Трехслойный с запасом.

Мосин потряс головой:

— Бесполезно, бригадир.

Чугреев смотрел на него со снисходительной усмешкой, как режиссер на посредственного актера, наперед зная все его реплики, жесты и интонации.

— Скажи, кто тебя устроил на трассу?

Мосин нетерпеливо поежился, карие круглые глаза его побегали и уперлись в землю.

— Бесполезно.

— Чего ты упираешься, дурень? Грошей замолотишь полный сундук.

— На хрена мне твои гроши? Шо я, шубу коверкотовую пошью? Корочки лакированные? — Он растопырил свои короткие заскорузлые мозолистые пальцы: — Знаешь, сколь через эти лапы прошло? — Заговорил с придыханием, шепеляво, по-блатному. — На гроши он хотел меня взять. Я такие гроши в гробу бы видал. Я с этим делом завязал, понял?

Чугреев смерил его грозным взглядом.

— Да ты не шепелявь, не шепелявь, я таких шепелявых через буй по-флотски. Нормально говори. — И видя, как Мосин начал нервно поводить плечами и примаргивать, спокойно сказал: — Тебе нужна бумага, характеристика. Без нее в город не пустят, так? А мне надо двадцать пять стыков в день. Баш на баш. Понял? Мое слово — железо. Будешь финтить, такую бумагу накарябаю — еще столько же на рога подкинут. Вот так!

Он повернулся, неторопливо пошел к вагончикам — широкий, плотный, в засаленной телогрейке, в тяжелых кирзовых сапогах, облепленных грязью. Мосин исподлобья смотрел ему вслед, правое веко его конвульсивно подергивалось.

За этот месяц Лешка исстрадался вконец — не мог заниматься, плохо спал, его все время тянуло к Вальке, но когда она была рядом, смущался, тускнел и не решался сказать ей те простые и очень важные слова, от которых так томительно жгуче замирало сердце. Валька держалась как ни в чем не бывало, подшучивала над его хмуростью, поддразнивала. Просвечивая стыки или проявляя пленки, беззаботно напевала модные песенки, смеялась ни с того, ни с сего — ей нравилось быть любимой без обязанностей.

День летел за днем — в звоне и грохоте, в реве машин, в медленном упорном движении вперед, вдоль непрерывно наращиваемой стальной трубы, — а Лешка все откладывал, переносил со дня на день решительный разговор с Валькой, томился невысказанным чувством и клялся по ночам, что завтра ей все скажет. Однажды он случайно заглянул в зеркало и не узнал себя — осунувшееся лицо с длинным носом, запавшие тусклые глаза, как-то по-нудному тоскливо поджатый рот и волосы, посеревшие от грязи, нестриженные, слипшиеся просаленными прядями. Он в тот же вечер поехал с рыжим в Лесиху, оттерся, отпарился в бане, вернулся сверкающим, посвежевшим, обновленным. Разбирая книжки, нашел в одной из них переписанное от руки стихотворение Киплинга «Заповедь». Оно потрясло его, открыв с пронзительной простотой, каким он был зачуханным слабаком и как сделать из себя титана. Он выучил его наизусть и с восторгом повторял про себя:

Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать как прежде
И никогда не пожалеть о том...

Впервые за все время своей работы на трассе он написал домой письмо. Стал снова весел и разговорчив. Валька поглядывала на него с интересом. Он преодолел слабость, но преодолеть чувство не мог. Снова наступила ночь, когда он поклялся, что завтра скажет ей все.

Холодное неуютное утро выползало на поляну густым белесым туманом. Небо казалось мутной засвеченной пленкой. Не то сыпался мелкий дождь, не то туман разносило ветром в пыль. Звон рельса — Зинкин сигнал к подъему — падал на душу тяжелыми каплями тоски. Лешка не побежал на речку — попрыгал на поляне.

До обеда Мосин выгнал десять стыков — рекорд за неделю. Чтобы не терять время, обедали попеременно: пока Мосин ел, Гошка гнал его шов. Чугреев прихватывал стыки вместо Гошки.

Вальке нездоровилось, Лешка один просветил все десять стыков — умаялся. Вспомнил, как она говорила: «Самая противная часть нашей работы — проявлять пленки. Сидишь в темноте, как истукан, глаза портишь — тоска! Я люблю разнообразие...» Решил сделать ей приятный сюрприз: проявить пленки. Закрылся в фотоотсеке, только разошелся, пришла Валька: «Проявляешь? Ну-ка, давай глянем. Что-то много Мосин сегодня наворочал».

Когда пленки подсохли, Валька включила экран.

— Что такое?! — воскликнула она.

Лешка увидел — шов весь в крапинках, пятнах и полосках, с расплывающимися краями. Шов казался рябым и мохнатым.

— Это же брак! — Валька вытащила пленку, вставила другую. — Опять брак! — Торопливо проверила остальные. — Да он что, взбесился? Целую плеть зарезал!

Собрав все пленки, она выбежала из лаборатории.

Под навесом Чугреев просмотрел пленки на свет, отложил два снимка.

— Не горячись, Валя, — сказал он, хмурясь. — Швы неважные, согласен, но не безнадежные. Эти, — показал на отложенные пленки, — конечно, придется переделать. А остальные, честное слово, сойдут.

— Не сойдут, Михаил Иванович. Чистейший брак. Я не могу такие пропустить, — волновалась Валька.

— Если очень сильно придираться...

С папироской в зубах подкатился Мосин.

— Зачем звала?

Валька протянула ему пленки.

— Полюбуйся на картинки.

Мосин угрюмо глянул на нее, покосился на Лешку, взял один снимок, повертел так-этак, швырнул на стол.

— Не мои снимки.

— Как то есть не твои? А чьи же? — возмутилась Валька.

— Поддельные.

— Поддельные?! — Валька дернула его за рукав. — Ты что говоришь, соображаешь круглой своей башкой? — Повернулась к Чугрееву: — Ну, как ему не стыдно, Михаил Иванович!

Она расплакалась, отошла к печке. Чугреев укоризненно посмотрел на Мосина — тот выплюнул окурок, хлопнул рукавицами:

— На хрена мне это надо, начальник, а?

— Ладно, ладно, — подтолкнул его Чугреев, — твое дело гнать шов, остальное — за мной. Ясно?

Мосин беззвучно выругался, переваливаясь, ушел к трубам. Чугреев тронул Вальку за плечо:

— Валюша, успокойся. Чего из-за пустяков нервни-

чать. Всякое бывает. Режим сварки не тот выбрал, вот и поехало. Я с ним потолкую...

— Да я же наряды подписала! — выкрикнула она сквозь слезы.

— Ну и что? Подумаешь, трагедия. Исправим.

— Нет, я так не могу, — она вытерла слезы, — пойду в деревню, дам телеграмму, пусть аннулируют наряды.

— Ну, как знаешь, — он махнул рукой.

Перед уходом в деревню Валька подозвала Лешку, наказала:

— Вернусь поздно. Постарайся проверить остальные стыки. — И закусив губу, помолчала, о чем-то думая. — Не нравится мне эта филармония...

— Валя... — он опустил глаза, порыл ботинком землю, отрывисто вздохнул. — Я хочу сказать тебе одну штуку. Знаешь...

Она догадалась, быстро сказала:

— Не надо, Лешенька, не надо, милый. Пусть все будет по-прежнему. Прошу тебя, умоляю. Ну, можешь ты это сделать для меня?

Он густо покраснел, чуть заметно кивнул опущенной головой. Они молча прошли через поляну. Лешка справился со смущением — стало легко, светло, радостно на душе, как будто Валька вытащила его из петли, уже задыхавшегося, терявшего сознание. Теперь он испытывал к ней теплую привязанность, ему хотелось сказать что-то нежное, возвышенное или просто погладить руку. Он притронулся к ее руке:

— Валя, у тебя могут быть неприятности из-за этих швов?

Она горестно вздохнула:

— Огромные, — и, сложив пальцы решеткой, добавила: — вот такие. Понял?

Когда Валька ушла, он зарядил кассету, перетащил к трубам контейнер. Только опоясал кассетой первый шов, из-под полога вылез Мосин.

— Паря, подь-ка сюда.

— Что вам, электродов принести?

— Повари, пока я отлучусь.

Лешка просиял:

— Доверяете?

— Второй слой можно. Электрод не дергай, и дело пойдет.

Лешка залез под полог. Щиток сразу съехал на нос — пришлось перестегнуть ремешок.

Вот он шов — чешуйчатый, вороненый, змеей обвился вокруг стыка. Поверх его, заполнив ложбинку, пойдет второй шов... Лешка высек дугу. Сквозь темное стекло яркий огонек казался маленьким солнцем. Видно было, как светлел и плавился металл. Главное — держать зазор и равномерно тянуть электрод. Нужна твердая рука, особенно — кисть. У Мосина железная хватка. И острый глаз. А с точки зрения физики все очень просто, разность потенциалов, «плюс—минус», мощный источник тока, и вот она — дуга. Просто, а попробуй-ка сделай ровный шов. Тьфу, черт! Опять натекла «блямба»...

Снаружи раздался свист. Лешка вылез из-под полога, как из парной — потный, красный, дрожащий.

— Поработал? — от Мосина пахнуло водкой.

— Да-а... — Лешка разминал затекшую руку. — Я наверное, напартачил...

— Сойдет. Теперь иди забавляйся, — Мосин усмехнулся на соседний шов, опоясанный кассетой, и юркнул под полог.

До конца дня Мосин выгнал еще двенадцать стыков. Просвечивая швы, Лешка все поглядывал на него и поражался той перемене, которая произошла с ним. Еще вчера Мосин работал со злой напористостью, осатанело, хлестким матом подгоняя идущего впереди Гошку — сегодня он как-то обмяк, как бы раскис, часто вылезал из-под полога, курил, бегал куда-то, а возвращаясь, подмигивал пьяными мутными глазами. Но самое поразительное, чего никак не мог уразуметь Лешка, почему вдруг стыки пошли значительно быстрее.

Ночью хлынул проливной дождь — будто тысячи сказочных злых барабанщиков беспорядочно заколотили по крыше и стенам вагончика. Под полом по-мышиному шуршал ветер. Шумел лес. Ветка лиственницы черной лохматой птицей билась в окно. От стены сквозило сырым холодом погреба.

Лешку знобило. Он укрылся с головой, высунул только нос. Снова и снова, как один и тот же фильм, раскручивался в памяти прожитый день. С каждым оборотом фильм насыщался мельчайшими подробностями, становился сочным и осязаемым как сама реальность.

Как странно улыбнулся Мосин. «...Теперь иди забавляйся». Широкий рот раскрывался одним углом, как чемодан со сломанным замком. Сквозь щель чернела пустота — многих зубов не было. Улыбка Мосина, видимо, большая редкость. «Теперь иди забавляйся... Теперь иди забавляйся...»

От смутной догадки у Лешки застучало в ушах. Ему казалось, что все сейчас повскакивают с полок — так сильно заколотилось сердце. Конечно, конечно, лихорадочно думал Лешка, Мосин рвач и халтурщик, воспользовался моментом, нагло гонит брак. Ему наплевать на все и на всех. Снимут Чугреева, посадят Вальку — ему начхать, лишь бы побольше нахапать денег. Но ничего, утром все узнают правду. Он не даст Вальку в обиду...

К утру дождь кончился. Низкие тучи цеплялись за острые верхушки сосен — сосны раскачивались, скрипели. Осыпаясь, шумел березнячок. Дымчатыми драконами ползли по земле клочья тумана.

Лешка чуть не проспал. Когда он выскользнул из вагончика, над навесом вился дымок. — Зинка гремела кастрюлями. Значит, вот-вот она ударит в рельс. Лешка юркнул между вагончиками, кинулся через поляну к САКу. Все было продумано. Он вывернул регулировочную иглу карбюратора, на ее место спичкой приколол тетрадный лист — на нем было написано: «Иглу вывернул я. Не отдам, пока Мосин при всех не поклянется, что прекратит халтуру. Алексей».

Зинка хлобыстнула прутом по рельсу. Бэмз! бэмз! бэмз! — понесся над поляной стальной звон.

Перепрыгивая через трубы, скользя на мокрой траве, Лешка бросился в кусты. Возле малорослой сосенки присел на корточки, вырезал перочинным ножом кусок дерна, кинул в ямку иглу, прикрыл — ищейка не найдет. Согнувшись, перебежал в березнячок, притаился, покусывая травинки.

Из вагончиков полезли рабочие — разбрелись по ближайшим кустам. Поеживаясь от утреннего холода, растирая через рубаху круглую грудь, Мосин побежал к САКу. Спрятался за кожухом, постоял сколько надо, потряс штанами. Настроив двигатель, взялся за заводную ручку — раз, два, три, четыре!

Лешка давился от нервного смеха.

Раз, два, три, четыре! Двигатель чавкал, глухо похлопывали клапана. Мосин откинул боковую крышку, сунулся всем корпусом к карбюратору, замер, оттопырив широкий зад. Лешка видел, как он сорвал бумагу, стиснул в кулаке и покатился к бригадирскому вагончику.

На барабанный стук в дверь высунулся полуголый

взъерошенный Чугреев. Протирая глаза, долго разглядывал тетрадный листок. Мосин поносил Лешку на всю поляну. Чугреев скрылся в вагончике. На шум сбежались рабочие.

От предстоящей схватки у Лешки захватывало дух — такое ощущение было однажды, когда он прыгал с парашютной вышки в городском парке.

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех, —

шептал он строки из «Заповеди».

Из вагончика выскочил Чугреев, Мосин повел его к САКу. За ним потянулись остальные. Жестикулируя и обильно пересыпая свои объяснения тяжелыми, как оплеухи, словесами, Мосин показывал Чугрееву, как он обнаружил листок.

На поляну выбежала Валька. Лешка поднялся во весь рост, вышел из-за кустов.

— Вот он! — крикнул Яков. Все повернулись, затихли.

Лешка медленно подходил к САКу, шаги его невольно становились все короче, ноги плохо сгибались, словно загустела «смазка» в коленных суставах.

Мосин раздвинул толпу, закачался навстречу Лешке. Чугреев схватил его за плечо:

— Стой! Спокойно!

Мосин зарычал, но подчинился. Чугреев выдвинулся вперед.

— В чем дело, Алексей? К чему эти демонстрации?

— Он халтурщик... Гонит брак, чтобы побольше заработать... — Лешка говорил и не слышал своего голоса. Ему казалось, что он шепчет, язык еле ворочался. — Пусть перед всеми поклянется, тогда отдам иглу.

— Знаешь, Алексей, тут тебе не пионерский сбор. Отдавай иглу и не мешай людям работать. Тоже мне умник! Не все в жизни по инструкциям. Ясно? — Он обернулся к Вальке: — Верно я говорю? Валентина!

Валька вздрогнула, растерянно замотала головой. Глаза ее вдруг расширились от страха, она пронзительно крикнула:

— Лешка! Беги!

В тот же миг Лешка увидел перед собой круглые ржавые глаза, черную косую щель улыбки.

— Клятвы захотел? Тварина! — выдохнулось из щели. Снизу чугунной своей ладонью Мосин двинул Лешку в лицо.

Весь мир, как показалось Лешке, вспыхнул, треснул, захрустел и кувыркнулся в темноту...

Очнулся Лешка на полке. Кто-то прикладывал к лицу мокрую тряпку, кто-то расстегивал куртку, чьи-то холодные руки трогали лоб. Ему казалось, что он лежа качается на качелях, только качели какие-то странные: не вперед-назад, а с боку на бок. Над ним тихо разговаривали.

— Николай, сейчас же езжай в Лесиху, постарайся найти иглу или целиком карбюратор. Проследи, чтобы Мосин не загулял. Валя, временно оставим хлопца здесь, последишь за ним.

Лешка сбросил с лица тряпку, приподнял голову.

— Лежи, лежи, — придержала его Валька. — Тебе нужен полный покой.

— А где Мосин?

— Ушел в деревню, — ответил Чугреев. — Вот видишь, Алексей, как все глупо получилось. Ты пострадал, Мосин обиделся — теперь верняком неделю будет пить. И все дело встало. Ну, ладно, отдыхай, потом потолкуем.

Сумеречный промозглый день угасал с самого утра. Небо было беспросветно серым, монотонным, тоскливым, как старое суконное одеяло. Мокрые березы раскачивали голыми макушками — снизу еще держались листья. От потемневших сосен веяло сыростью и холодом. Тускло поблескивали матово-белые отмытые дождем гусеницы трубоукладчиков. Черные стрелы с повисшими на стропах крюками нелепо торчали в стороны. Длинная в ржавых пятнах плеть вытянулась на краю траншеи — холодная и скользкая, как змея.

Лешка сидел на ступеньках — в вагончике переодевалась Валька. Днем заходил Чугреев, веселый, возбужденный, пригласил ее на день рождения. Подсел к Лешке, шутливо потаскал за ухо, пощелкал по носу:

— Лежишь, герой? Лежи. Ты сегодня контуженный, тебя не приглашаю.

Руки его пахли соляркой.

Теперь Валька наряжалась — Лешке было тоскливо. К третьему зеленому подкатил газик. С оттопыренными карманами вылезли Мосин и рыжий Николай — двигались они суетливо и угловато, видно, крепко хватанули в Лесихе. Яков тоже ездил с ними — бережно, как грудного ребенка, пронес в вагончик большой серый сверток — бутылок десять в брезентовой куртке.

В третий зеленый, как железки к магниту, потянулись рабочие: из четвертого зеленого прошмыгнул Гошка с гитарой, из второго гуськом вышли такелажники — понесли хлеб и сало.

— Как дела, мальчик? — Валька стояла в дверном проеме, расфуфыренная и надушенная.

Лешка встал, чтобы пропустить ее, прижался спиной к косяку. Тугой грудью она уперлась в его грудь.

— Ну...

Как обидно, что она уходит. Лешка отвернулся:

— Останься, Валя...

— Ты ревнуешь?

— Нет, Валя, останься...

— Упрямый мальчишечка. — Она чмокнула его в щеку. — Пока!

Ему стало не по себе — от обиды засвербило в горле, зачесались глаза. Как будто ничего не произошло, с тоской думал он, лежа на полке. Он поднялся, походил из угла в угол, присел на ступеньку. В вагончике рабочих начали пошумливать. До Лешки доносились возбужденные голоса, хохот, треньканье гитары. Окна засветились желтоватым мутным огнем — зажгли лампу. Гитара забренчала громче — Гошка тенором затянул «Колыму»:

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой ...

Его забил чей-то густой мощный бас:

Хорошая бяседочка, где мой татка пьеть,
Где мой татка пьеть,
Он за мною, молодою, по три пасла шлеть.
По три пасла шлеть,
Четвертый же посольчичек — сам таточка идеть...

Песня смолкла — все зашумели, кто-то захлопал в ладоши. На миг все стихло — звякнули кружки.

Вдруг с треском распахнулась дверь — в светлом проеме между косяками закачалась долговязая фигура Якова. Он громыхнул по ступенькам, придерживаясь за вагончики, побрел к первому зеленому. Лешка слышал, как он, сильно фальшивя, бурчал под нос:

Четвертый же посольчичек — сам таточка идеть...

У подножия вагончика он остановился, тупо уставился на Лешку.

— Старик?! — пробормотал он удивленно-восторженно и полез на ступеньки.

Лешка подвинулся. Яков плюхнулся рядом, облапил за плечи.

— Ты знаешь, старик, я надрызгался, как паровоз,—

сообщил он, мотая лохматой головой. — Эх, Леха, Леха, умняга. Но... кое-чего ты ни бум-бум... Ты смелый, — он презрительно вытянул губы, — принципиальный, ха-ха! Но ты знаешь кто? Догматик! Ты не приспособленец. Ты выпятился, как пупырек. Хе-хе! Выпячиваться очень э-э опасно. Оч-чень. Потому как... сам понимаешь... могут сбрить. Учись, старик, у меня. Я уже этот, профессор! Они все салаги — я один... Вру! Не я один. Тут еще есть такой Чугреев — слыхал? Тоже профессор. Я у него учусь... Такова жизнь — хе-хе! Ты меня не слушай. Я косой — в дупель! Дай закурить. Ах, да, пардон, юноша не курит.

Он отвалился к косяку, вытянул ногу. Негнущимися руками вытащил из кармана смятую пачку папирос.

— Такова жизнь, — изрек он и застыл с лицом, перекошенным злой улыбкой. Очнувшись, ох хлопнул себя по лбу: — Старик! Тебя люди ждут, массы требуют. На выход!

Лешка поежился.

— Зачем?

Цепляясь за Лешку, Яков сполз со ступенек.

— Пошли! Мосин зовет.

— Не пойду. Если надо, пусть сам приходит. Я ему скажу, что он подлец и негодяй. Иглу я не отдам, пока не поклянется при всех. Так можешь и передать.

— Подумаешь, гер-рой! — Яков хрипло засмеялся.— Такова жизнь... Чи за утьми, чи за гусьми, чи за лебедями, — гнусаво затянул он и поплелся в третий зеленый.

Лешка уронил голову на колени, замер. Ночь плакала мелкими холодными слезинками — они собирались в его шевелюре и щекочущими струйками скатывались за воротник.

Из третьего зеленого, как из дребезжащего динамика, загремела песня — «Ревела буря, дождь шумел»... Лешке вдруг почудилось, будто рядом с ним кто-то дышит и посапывает. Он вскинул голову и оцепенел — покачиваясь, с безобразно кривой пьяной улыбкой на темном лице к нему склонялся Мосин.

— Держи! — прохрипел он и сунул Лешке кружку. Холодная водка плеснулась на руки. — Давай дернем, — потянулся чокнуться, — ну... Зуб имеешь? Ага. Верно. — Он рыгнул, вздрогнув всем телом, шумно выдохнул, прислонился к ступенькам. Лешка отодвинулся, поставил кружку на порог.

— Я б щас морду ему набил, — сказал Мосин, мотнув головой куда-то в сторону. — Ага. Гони, говорит, падла, шов, а то бумагу не дам. Я говорю: бесполезно. Гони, говорит, а то еще на рога схлопочешь. Ага. У меня пять на рогах было, два осталось. Бесполезно. Ну, раз так — дерьмо тебе надо? — На! Я и так могу и этак. Дерьмо надо? На! Падла, тварина тупоносая. Мне в город надо. Душу точит. Деньги ей посылаю, шикалад, пряники, а она пьет, старая карга, на толкучке валяется. С войны приучилась, с батиной похоронки. Слышь, — он повернул к Лешке мокрое лицо, глаза его, вдруг ставшие огромными, сверкали и вздрагивали. — Слышь, — повторил он глухо, но ему снова перехватило горло. Он сморгнул слезы, покрякал. — Сказывали, будто лечат теперь таких. Слыхал?

Лешка, съежившийся, завороженно слушавший его, мотнул головой:

— Не знаю. Вы про кого говорите?

— Ага. Мамка моя, старушка. Приезжаю в город, в суд ездил, забегаю домой — торк-торк — где мамка? Ага. Соседка по двору: «Это ты, Ваня? Ищи, — говорит, — свою мать на базаре». Ага. На базаре, слышь, в пыли валяется растрепанная, юбчонка задралась, ножки сухонькие, как у кузнечика. — Мосин скрипнул зубами, стиснул рукою глаза.

Лешке вдруг показалось, что Мосин специально прикинулся таким несчастным, чтобы разжалобить его и выманить иглу.

— Почему вы не возьмете мать к себе? — спросил он строго.

Мосин высморкался, утерся рукавом, сказал:

— Не хочет. У ней там домик, привыкла. Меня ждет, отца ждет. Я ей говорю: «Поехали, мать, в деревню, поживешь на вольном воздухе», а она: «Как же, голубчик, я поеду? Ванечка с каторги придет, куда денется?» — «Ты что, говорю, старая, рехнулась? Это ж я — Ванечка». Она всмотрелась, всплеснула руками: «Ой, верно, как ты изменился, сыночек». — «Ну, так поедем», — говорю. «Нет, голубчик, я уж тут отца подожду. Уеду, а кто бражку сварит? Вон бочоночек-то полненький, дожидается».

Мосин умолк. Покачиваясь, он переступил с ноги на ногу, нервно поводил плечами. Ярким желтым пятном светилось в темноте окошко, задернутое занавеской. Попадая в полосу света, тонкими скользящими нитями блестел дождь.

Мосин нашарил на пороге кружку, протянул Лешке:

— Давай, как мужики. Я тебя понял, ты меня понял. Выпьем и крякнем.

— Не хочу, — Лешка снова поставил кружку на порог. — Так, значит, Чугреев заставил вас гнать брак?

Мосин посмотрел на него дикими непонимающими глазами, подумав, тряхнул головой:

— Он, падла.

«Ага! Вот тут-то ты и попался! — подумал Лешка.— Чугреев не мог отдать такого приказа».

— А вы что же, своей воли не имеете? Вам скажут «убей», вы пойдете убивать.

— Не. Я не «мокрушник», я вор.

— Я не об этом.

— Понял тебя. Ага. Меня в твои годы валенком с песком лупили. Чтоб заложил других. Кровью прудил — молчал. Думал, воровской закон — железо. Потом узнал: продавали и перепродавали. Понял? Кажный за себя держится, кажный за себя отвечает.

— А если газопровод взорвется, кто будет отвечать?

— А кто приказывал, тот и в ответе.

Лешка задрожал от возмущения:

— Значит, одним халтурные денежки, а другим — тюрьма? Я вас понял. Иглу не отдам, и не надейтесь.

Мосин жарко задышал, откачнулся от ступенек, но, видно, овладел собой — плюнул.

— Эх, ты, гнида! Прокурор ты — не человек. Да мне начхать на твою иглу! В ж... себе засунь...

Он ушел, бормоча ругательства, а Лешка со злым удовлетворением думал, как здорово отбрил хитрого рвача.

6

Первые сутки ускоренного монтажа дали рекордную цифру: двадцать два стыка. С трепетом, с каким во время войны следил за продвижением линии фронта, Павел Сергеевич передвинул флажок по карте на 528 метров. Вторые сутки принесли сенсацию — 600 метров! Темп набран, сто метров взяты! Он лихорадочно потирал руки, то и дело поправляя сползающее пенсне, похаживал возле карты, но как ни старался уговорить себя, что дело пошло, и все уладится, умнется, утрясется, на душе у него скребли кошки. Уж кто-кто, а он-то хорошо знал, каким единственным путем взяты эти лишние сто метров в день. Угрызения совести, да и опыт, требовали точной инженерной проверки трехслойного шва и строгого оформления обосновывающих документов. Поэтому первым делом Павел Сергеевич позаботился о лабораторных испытаниях на прочность двух пробных стыков, сваренных Мосиным на трассе. Трехслойный шов по механическим

свойствам мало отличался от четырехслойного. Предварительные расчеты, проделанные им той ночью, подтвердились. Он тотчас же отправил пространную телеграмму в проектную организацию, написал письмо Каллистову, а копии разослал в трест и в главк. Он как бы сматывал с себя паутину, которой опутался накануне. Совесть его постепенно очищалась и очистилась бы совсем, если бы не одно обстоятельство, которое в спешке он чуть было не упустил. Трехслойный шов, так успешно выдержавший испытания, был сварен до разговора с Чугреевым — шов после разговора это уже совсем другой шов. Нервы Павла Сергеевича снова натянулись. Надо было немедленно испытывать реальный трехслойный шов.

В десять часов утра на него обрушилось короткое сухое сообщение Чугреева: «Алексей остановил работы по сварке. Прошу перевести в город. Срочно нужен карбюратор для САКа. Настаиваю на отмене просвечивания швов». Связь была плохая, в наушниках свистело, хрюкало, шипело — Павел Сергеевич вспотел, охрип от крика, но никаких подробностей не узнал. Саданув со злости по рации, он вихрем пронесся в свой кабинет, хлопнул дверью, чего с ним никогда не бывало, и засел за телефон. Через знакомого начальника аэрофлота заказал на час дня вертолет. Вызвал снабженца, раскатал его за все прошлые и будущие промахи, приказал немедленно, хоть из-под земли, раздобыть карбюратор. Снабженец, обычно канючивший по каждой мелочи, выскочил из кабинета как натертый скипидаром. В час дня Павел Сергеевич вылетел на трассу.

Взвинченный, настроившийся дать разгон всем без исключения, увидев Лешку, Павел Сергевич обмер. Всю злость его как рукой сняло. Длинный, нескладный, в болтающейся грязной робе, с огромной всклокоченной головой и тонким бледным лицом, заостренным к узкому нежному подбородку, он как-то по-Клавиному виновато улыбался, а в больших серых глазах его дрожала грусть.

— Мне так надо поговорить с тобой, папка!

Павел Сергеевич обнял его, повел к вагончикам.

— И я соскучился. Ты потерпи малость, я потолкую с Михаилом Ивановичем, — сказал он, кивнув Чугрееву, чтобы тот ждал его в вагончике.

— Поговори сначала со мной, папа, — горячо зашептал Лешка. — Потом с ним.

Жалобный тон, с которым он произнес эти слова, резанул Павла Сергеевича по сердцу, но прежде чем говорить с сыном, надо было узнать подробности, чтобы не допустить тактической ошибки. Он мягко отстранил Лешку:

— Ну, ну, Алексей, мы же на работе.

Лешка уныло поплелся в первый зеленый. У окошка, ссутулившись, сидела Валька — чинила чугреевскую куртку. За эти сутки она заметно осунулась, но стала еще миловиднее: лицо побледнело, на щеках залегли матовые тени, отчего губы казались еще ярче, еще заманчивее. Глаза в темных овалах блестели чистыми белками, как полированная пластмасса.

Лешка с отвращением фыркнул — он поклялся не обращать на нее никакого внимания, но его все время тянуло к ней, и в глубине души он на что-то надеялся. Потоптавшись возле своей полки, он хотел уж было улизнуть, но Валька остановила его.

— Леша, посиди со мной, — тихо сказала она, но, заметив Павла Сергеевича, вся передернулась и, вскочив, выскользнула из вагончика.

Павел Сергеевич недоуменно посмотрел ей вслед:

— Что это с ней? Такая веселая была девка...

Лешка пожал плечами.

— Заходи, папа, я теперь здесь живу. Персональный вагон.

— Знаю, знаю, — сказал Павел Сергеевич, поднимаясь в вагончик. — Мне Чугреев уже рассказал про твои подвиги.

Они уселись за стол, друг против друга.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Павел Сергеевич, с тревогой разглядывая серое измученное лицо сына. — Ты плохо выглядишь. Ты не болеешь?

— Нет, папа, в этом смысле все в порядке. Меня мучает другое, — Лешка задумчиво посмотрел в тусклое, забрызганное дождем окно, тяжело вздохнув, опустил глаза. — Или я идиот, или... — не найдя слов, он горько усмехнулся. — После этого случая на меня тут смотрят все, как на идиота. То ли все они боятся его, то ли... Не могу понять. С одной стороны — халтурщик и рвач, а с другой — взял обязательства бороться за звание. И потом — такая ужасная нелепая жизнь. Жалко. Я сначала решил, что он специально все выдумал, чтобы выманить иглу, а сегодня вдруг понял: он мне душу раскрыл, знаешь, по-человечески. А я— кретин. Стыдно.

— Ты о ком?

— О Мосине. Слушай, папа, ты, наверное, знаешь: алкоголиков лечат у нас или нет?

«Господи, какой он странный», — подумал Павел Сергеевич, сдерживая нарастающее раздражение. Ему не терпелось приступить к разговору, ради которого он прилетел на трассу, а тут про алкоголиков...

— Зачем тебе это? — спросил он, хмурясь.

Лешка оживился, придвинулся к отцу.

— Надо, папа, очень важно. Понимаешь, только ты никому не говори, у Мосина мать пьет, валяется по базарам. Мать, понимаешь! А он стесняется спросить. Я хочу помочь ему.

Павел Сергеевич смягчился:

— Алкоголиков лечат, но что-то я не слышал, чтобы они окончательно избавлялись от этой привычки. Правда, в последнее время, говорят, стали применять какое-то новое средство, кажется, антабус — точно не помню. Но это страшно: после него пить совершенно нельзя, иначе — смерть.

— А где, где лечат, в какой больнице?

— Кажется, в психоневрологическом диспансере. Где-то за городом.

Лешка схватил тетрадку, торопливо записал, вырвал листок.

— Извини, папа, я сейчас.

— Да успеешь ты... — крикнул обескураженный Павел Сергеевич, но Лешка уже выпрыгивал из вагончика.

Ни в вертолете, ни в вагончике Мосина не оказалось. Лешка хотел уж было вернуться к отцу, но вдруг услышал приглушенное расстоянием тарахтенье САКа. «Неужели нашли иглу!» — ужаснулся он и кинулся на просеку. Впереди, в полкилометре от поляны виднелась фигура человека — круглая сутулая спина, качающаяся походка — вот где Мосин! Лешка побежал вдоль траншеи, по гусеничным следам.

Мосин осматривал сваренную накануне плеть, ту самую, из-за которой Лешка остановил сварку. Он ходил от стыка к стыку, наклонялся над швами, ощупывал их обеими руками и смачно сплевывал, бормоча про себя ругательства. САК тарахтел у начала следующей плети — состыкованных как карандаши секций.

Заметив Лешку, Мосин поднялся ему навстречу, сунул руки в карманы. Лешка остановился в двух шагах, переводя дыхание, растерянно соображал, с чего начать: то ли отдать листок, а потом спросить про САК, то ли наоборот. На губах Мосина задрожала ухмылка:

— Че, малый, опять рога зачесались? — Он лениво

кивнул на работающий САК. — Фатера иди пободай, он карбюратор привез.

Лешка в замешательстве стиснул листок, отступил на шаг:

— Врете!

— На хрена? Мне теперь все до этого дела, — Мосин выразительно потряс двумя руками, засунутыми в карманы. — Лишь бы бумагу дали, а там хоть застрелись.

Лешка круто повернулся, побрел в мрачном раздумье. Дойдя до конца плети, он остановился, расправил смятый листок, решительно пошел обратно. Мосин все так же стоял, засунув руки в карманы.

— Вот, — сказал Лешка, не поднимая глаз. — Здесь написано, как называется больница для вашей матери. Будете в городе, узнаете.

Мосин часто заморгал, рот его судорожно перекривился. Лешка бросился бежать.

Павел Сергеевич нетерпеливо вышагивал по вагончику, сердито двигал бровями, отчего пенсне покачивалось и ползало по переносице. Он уже обдумал, как увезти Лешку в город, и теперь сердился, что его так долго нет.

Наконец Лешка появился, но такой понурый, такой съежившийся и несчастный, что у Павла Сергеевича не повернулся язык ругать его.

Лешка устало присел к столу, уронил голову на руки. Павел Сергеевич растроганно потрепал его шевелюру:

— Зарос как барбос.

Лешка вяло отстранился.

— Папа, скажи, я правильно сделал, что остановил сварку?

Павел Сергеевич долго молча смотрел на него усталыми глазами, тяжело вздохнул.

— Что мне с тобой делать?

— Нет, ты скажи, правильно я поступил?

Павел Сергеевич задумался: трудно, ох как трудно говорить с сыном — защищать то, что сам в душе отвергаешь, убеждать в том, в чем нельзя убеждать.

— По крупному счету ты, конечно, прав, —собрался он наконец с мыслями. — Конечно, прав. Но не забывай, что есть еще обстоятельства, которые подчас диктуют людям поступки, противные их взглядам, убеждениям, желаниям, и не всегда можно бороться против этих обстоятельств.

— Как то есть не всегда? — удивился Лешка. — Ты же сам мне говорил, что честный человек всегда найдет в себе силы бороться против подлости и лжи.

Павел Сергеевич поморщился, поскреб затылок.

— Ты слишком прямолинейно понимаешь слово «бороться». Если все так будут бороться, то и работать некому будет.

— А как иначе бороться? Болтать? Может быть, ты считаешь, что они и дальше могут так же халтурить?

Павел Сергеевич молчал. Сказать правду не поворачивался язык, выкручиваться дальше он не мог — надо было либо немедленно соглашаться, либо...

Лешка пристально следил за ним, в холодных глазах его росло недоумение.

— Да, да, конечно, ты прав, — торопливо согласился Павел Сергеевич.

— А почему же ты отдал им карбюратор, не разобравшись, что здесь произошло? — с обидой, дрожащим голосом спросил Лешка.

— Почему «не разобравшись»? Разобравшись, — ответил Павел Сергеевич, чувствуя, как противно задрожали кончики пальцев. — Мосин варил на повышенном токе. Такие режимы допустимы, если шов проходит по механической прочности. Вот я и заставил Чугреева вырезать кусок шва, чтобы проверить в лаборатории.

— Знаешь, папа, мне кажется, ты слишком доверчив, — задумчиво сказал Лешка. — Мосин мне сам признался, что специально гонит брак, якобы по приказу Чугреева. Я сначала не поверил — он такой человек, всего можно ожидать, — но сейчас вот думаю, думаю, вспоминаю, и мне начинает казаться, что он не врал. А с другой стороны — дико: как может Михаил Иванович пойти на это, когда он отлично знает, какой важный газопровод строим.

— Ты слишком увлекся своими подозрениями, — сухо сказал Павел Сергеевич. — Дорог каждый час, люди работают, действительно, геройски, не щадя себя, потому что понимают, какой это срочный газопровод. А ты...

— А что я?—упрямо нахохлился Лешка. — Знаешь, у Киплинга есть строки:

> Останься прост, беседуя с царями,
> Останься честен, говоря с толпой,
> Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
> Пусть все в свой час считаются с тобой, —

по-моему, гениально.

Павел Сергеевич хлопнул ладонями по столу, резко поднялся, зашагал по вагончику — пять шагов вперед, пять назад. Пол скрипел, когда он разворачивался.

— Слушай-ка, прям и тверд, а по матери ты не соскучился? Она так просила-умоляла взять тебя на пару деньков. Я ей говорю, как то есть «взять»? Ты же не чемодан. Захочешь — сам приедешь. Верно?

Лешка машинально кивнул — думал он о другом.

— На вертолете прокатишься. Поживешь дома, отмоешься, отъешься, белье зимнее возьмешь. Посидим, выпьем, как бывало, по кружечке пивка, потолкуем. Ну как? Идея?

— А как же трасса? — страдальчески сморщился Лешка. — Мосин опять начнет гнать брак.

— Об этом не волнуйся. Я возьму образец шва, проверю. Если действительно брак, накажу. Ну? Собирайся, а то мне некогда. В управлении дел по горло, да и вертолет нельзя задерживать.

Раздумывая, Лешка вытянул из-под полки чемодан, раскрыл, поковырялся в книгах, решительно захлопнул.

— Нет, папка, я не полечу. Сейчас все так здорово закрутилось — до жути интересно. Мне надо разобраться во многом. И потом, если я уеду, они подумают, что я сдался. А я не сдался и не думаю сдаваться.

Павел Сергеевич посерел. Пенсне запрыгало на переносице и сорвалось. Он подхватил его, как будто оно было раскаленное.

— Сдался — не сдался! — вдруг закричал он. — Что тебе здесь, игрушки? А ну, быстро собирайся! Немедленно! — Он рванул с полу чемодан, швырнул на полку. Крышка смаху хлестнула по стене, книги выпрыгнули и сползли на одеяло. Вздрагивая и приволакивая ноги, он забегал по вагончику, хватал Лешкины вещи — майку, полотенце, рубашку. Скомкав их, швырнул в раскрытый чемодан. — Живо! Чтобы духу твоего здесь не было! Кому говорят?!

Лешка попятился к стене.

— Чего ждешь? Ремня? — трясущимися руками Павел Сергеевич кое-как нацепил пенсне, схватился за ремень.

Прижавшись спиной к стене, раскинув руки, Лешка беззвучно шевелил побелевшими губами. В расширенных глазах его разгорались странные огоньки — упрямые и враждебные.

Павел Сергеевич замер, вытер взмокший лоб, спятился на полку. Как тяжело больной откинулся к стене, гулко стукнулся головой.

— Папа... папа... что с тобой!

Лешка осторожно, как к чему-то страшному и притаившемуся, приблизился к отцу, готовый отскочить. В тени поблескивали стекла пенсне и два золотых зуба.

— Прости, сына, — захрипел Павел Сергеевич. — Нервы... Вот видишь, что творится... — Он вытянул вперед руки, они тряслись как у юродивого. — Распсиховался... Ты прав, тебе надо остаться... Конечно, конечно... Ты не сердись на меня, я чертовски устал...

Лешка подсел к нему, погладил по плечу.

— Тебе надо отдохнуть, папа. А за меня не беспокойся. Я приеду домой, только попозже. Хорошо?

Павел Сергеевич порывисто сжал его руку.

— Будь осторожен, сына. И не обижай людей. Они постарше тебя. У каждого своя трудная жизнь. Они не виноваты в этом. Советуйся с Чугреевым — он добрый человек.

Они обнялись. Лешка почувствовал, как колючая щека отца стала горячей и мокрой.

Прямо с аэродрома Павел Сергеевич поехал к Каллистову. На скользких, как намыленных, ухабах за рекой тащились мучительно долго. Павел Сергеевич то и дело поглядывал на часы, боялся не застать Каллистова на месте. Таксист тихо ругался — обгонять было невозможно. Навстречу, буксуя и елозя по выбоинам, ползли бесконечным потоком машины. Уныло моросил дождь. Небо походило на дорогу — мутными, грязными полосами висели низкие тучи. Из трех серых бетонных труб ТЭЦ вываливался тяжелый белесый дым и скатывался к матово-сизой, как шлак, реке.

У Каллистова шло совещание. Павел Сергеевич прождал около часа. Первым из кабинета выскочил сам Каллистов.

— О, Павел! Спешу в город. Поехали, по дороге потолкуем.

Рябой шофер гнал «Волгу» смело и нагло, не скупясь на сигналы. От встречных машин по стеклам стегало жидкой грязью.

— Ну, что у тебя, как дела? — спросил Каллистов, хватаясь за переднее сиденье.

— Газ не будет подан в срок, я сорву график, — как-то вдруг, с ходу решил Павел Сергеевич. — Я не могу...

Каллистов развернулся весь к нему, уставился дикими глазами.

— Ты что, обалдел?

— У меня там сын контролером. Понимаешь? Сегодня же отменю приказ.

Машину занесло — они повалились друг на друга.

— Осторожней! Но скорость не сбавляй, — со злостью прокричал Каллистов шоферу. — Ты что? Рехнулся? Или пьян? Да здесь все мы полетим к чертовой матери. Ты понимаешь, что ты говоришь?

Их снова тряхнуло. Шофер неистово крутил баранку. Машина неслась между двумя потоками.

— А мне наплевать! — перешел на крик Павел Сергеевич. — Я не хочу терять сына. Это ты понимаешь?

Каллистов посмотрел на него как на помешанного, гаркнул шоферу «потише» и презрительно скривился.

— Распустил, понимаешь, розовые слюни. Все мы когда-то были такими, и всех нас жизнь обработала под свой вкус и цвет. — Он помолчал. Громадная голова его моталась из стороны в сторону. — Наивный человек, ты дрожишь за свой отцовский авторитет, как глупая девка за непорочность. Рано или поздно девку все равно прищучат. Рано или поздно дети узнают истинную нашу цену. Уж лучше самому сказать, чего ты стоишь, тогда хоть можешь надеяться на коэффициент за смелость. Да ты обязан, как отец, — черт возьми! — рассказать ему о жизни все, что нажил своим хребтом. Рассказать, объяснить и предостеречь. И вооружить! Чтобы он не голеньким вышел на арену, а со щитом и с мечом. Так я себе представляю свою роль как отца. В противном случае нам нечего делать, все остальное дают им в школе.

Машина въехала на городской асфальт. За стеклами, забрызганными грязью, замелькали разнокалиберные дома, то каменные четырехэтажные, то развалюхи, такие, что тошно смотреть.

— Потом не забывай, мой милый, — голос Каллистова зазвенел жесткими нотками. — Никто не допустит, чтобы график не выполнялся. Пара проверок, и ты загремишь с треском и позором на всю страну. Вот тогда попробуй сохранить свой отцовский авторитет.

Шофер свернул на набережную. Каллистов опустил стекло — в кабину ворвался ветер, пропитанный холодной моросью, запахом мокрых тополей и увядших клумб.

— Вот так, брат. — Он хлопнул Павла Сергеевича по колену. — Ты же умный мужик. Возьми себя в руки и жми, жми, жми.

Клавы дома не было. Павел Сергеевич свалился на диван — лицом к стене. Очнулся через час или через два — смеркалось. Разламывалась голова. Он вышел на балкон. Трехэтажная коробка через улицу глядела черными оконными проемами. Кирпичная стена с ломаным верхним краем, мокрая и щербатая, освещалась косым светом снизу. Нелепыми горами громоздились на земле кирпичи, гравий, песок, казалось, дом не строят, а разрушают. Один из проемов на первом этаже то и дело вспыхивал голубым яростным светом, как прямоугольный прожектор.

Павел Сергеевич уже не думал о трассе, он думал о сыне — как быть с ним, на что решиться, как уберечь его от жестокой правды. Лешка достаточно пытливый парень, чтобы добраться до истины, а если это случится, то трудно надеяться на понимание и нейтралитет.

Павла Сергеевича взяла досада: неужто и здесь, со своим родным сыном он бессилен что-либо сделать? В страхе и смятении он лихорадочно пытался вспомнить хоть что-нибудь, что казалось бы неверным или чрезмерным в его отношениях с сыном. Нет, ничего подобного не было. Никогда Лешка не огорчал его, им всегда гордились. Лешка был не только единственным, но и любимым ребенком. Он души не чаял в отце, и Павел Сергеевич, чувствуя это, стремился передать ему все самое лучшее. «Дети не должны повторять наши ошибки. Они должны сами находить свое призвание. Наша задача — раскрыть перед ними мир, научить их различать добро и зло, объяснить, почему добро — хорошо, а зло — плохо». Рассказывая Лешке случаи из жизни, он всегда что-нибудь добавлял, изменял, приукрашивал, оттенял, и выходило так, что из каждого случая можно было извлечь маленькую мораль: это — добро, а это — зло, добро торжествует, зло — наказано.

Как это нередко бывает, все, что когда-то лишь смутно беспокоило душу и в свое время не было продумано и понятно, теперь вдруг собралось воедино и острой, панической тревогой наполнило сердце: «Как же такой непримиримый будет жить, когда еще столько несправедливости?»

В сильном волнении он вернулся в комнату, сел на диван, стиснул руками голову. Лешка... Лешка... Там, один, докапывается до истины... А если трехслойный шов не пройдет? Если...

На миг затмило глаза, перехватило дыхание. Он услышал: засвистело, засипело, ахнуло. Он увидел: ба-

гровый вихрь взмыл над трассой, понесся с воем и грохотом, вздыбились искареженные лютым огнем трубы, свернулись, высохли, обуглились на деревьях листья...

Павел Сергеевич ощутил удушье, рванул галстук — нет! не будет, не будет, не будет этого! Он кинулся в спальню, там телефон, справочник. Не поздно? Плевать! Почему-то палец срывается с диска, цифры пляшут, расплываются, бегут, скользят, мелькают в круге.

— Кондратий Лукич? Это Ерошев, да, да. Прошу, увидеться, сейчас, срочно, по трассе, разрешите... До утра не могу. Надо лично. ,

Обкомовский дом — через две улицы. Бегом! Застыл у черной мягкой двери, перевел дух.

В шелковистой пижаме, в домашних туфлях на босу ногу, Кондратий Лукич слушал сбивчивую, торопливую исповедь Ерошева и задумчиво покусывал роговую дужку очков. На краю хрустальной пепельницы дымилась сигарета в янтарном мундштуке. Чистый зеленый колпак настольной лампы ярким пятном отражался в застекленном стеллаже.

Павел Сергеевич умолк, ощущая облегчающую пустоту, уставился на Кондратия Лукича темными ждущими глазами. Кондратий Лукич думал, то покусывая дужку, то почесывая ею седую косматую бровь.

— М-да... Неприятная история, — сказал он наконец, с неприязнью поглядывая на Павла Сергеевича. Тот понуро опустил голову. — Во-первых, немедленно, сегодня же отмените эти ваши фокусы с трехслойным швом. Если убеждены, что можно варить в три слоя, добивайтесь официального разрешения проектной организации, а пока извольте исправить весь брак.

Павел Сергеевич хотел сказать, что брака не так уж много, всего две-три плети, но Кондратий Лукич остановил его нетерпеливым жестом.

— Я позабочусь, чтобы на трассу была послана компетентная комиссия. Что вы хотели сказать?

— Все исправим, Кондратий Лукич, но нужна помощь. Спасти положение может только встречная бригада.

— Спасти положение, спасти положение, — раздраженно пробурчал Кондратий Лукич. — Надо было серьезнее относиться к своим обязанностям. Вы хоть понимаете, что за такие дела вас надо судить? — Торопливо нацепив очки, он холодно посмотрел на Павла Сергеевича и отвернулся. Сигарета дотлела до мундштука, пепел серым столбиком висел над пепельницей. — Встречная бригада, встречная бригада,— произнес он, морща лоб и сердито пошевеливая бровями. — Легко сказать «встречная бригада». Придется обращаться к организациям города и области. У всех своих дел по горло...

Он вытащил из пиджака, висевшего на спинке массивного стула, авторучку, быстро написал что-то на обложке «Советского экрана», сказал не глядя на Павла Сергеевича:

— Завтра в десять зайдете ко мне. Готовьте конкретные предложения, будем разбирать вас на бюро обкома.

В ту ночь Павел Сергеевич не сомкнул глаз...

7

Как только отец и сын Ерошевы вышли из вагончика, Чугреев сразу, по их растроганным и просветленным лицам догадался, что Лешка останется на трассе. «Придется вправлять парню мозги», — с досадой подумал он и стал соображать, как сделать это быстрее, надежнее и тверже. Когда вертолет поднялся и скрылся за лесом, он расставил рабочих для опускания плети в траншею, «подшуровал» Мосина и Гошку, вернулся на поляну к газику.

Лешка, грустный и задумчивый, сидел на ступеньках первого зеленого. Чугреев свистнул, поманил его в машину.

— Жми сюда, научу ездить.

Лешка обрадовался, но из деликатности спросил:

— Вам, наверное, некогда, Михаил Иванович?

— Садись, садись, — подбодрил Чугреев. — Обещал научить — сделаю. Слово — железо.

Лешка торопливо влез на переднее сиденье. Чугреев, задумавшись, медленно развернулся на поляне, поехал по просеке в сторону Лесихи.

—Та-ак, — прогнусавил он, хмуро глядя перед собой. — Сперва разведаем, что ты знаешь про шоферское дело, а уж потом за учебу. Скажи-ка мне, что такое машина? Как ты понимаешь?

Лешка удивился, с недоумением заглянул ему в лицо, — серьезен! — подумал и сказал:

— Машина — это, ну, устройство, агрегат, что ли, для того, чтобы ездить.

— Все?

— Все.

— Это с твоей колокольни, а с моей — похитрее. Вот, смотри, — он выпустил руль, газик сразу завилял, покатился к траншее. Лешка уперся ногами в пол.

Быстрыми, точными движениями Чугреев выправил машину на дорогу. — Видал! А теперь вот, — он поддал газу, машина рванулась, понеслась, запрыгала на ухабах. — Держись! — крикнул Чугреев и резко надавил на тормоз. Газик крутанулся, встал задом наперед. — Понял? На «виллисах» этот фокус здорово получался. Два-три оборота на мокрой дороге. Это мы в Германии, пока стояли, забавлялись.

Он ловко, в два приема развернулся на узкой полосе между лесом и траншеей, поехал в сторону Лесихи.

— Машина такая стерва — кто бы ни сел за руль, она уже готова, подладилась. Умный сел, и она умная, дурак сел, и она дура. Пьяный сел, и она пьяная. — Чугреев нахмурился, достал папиросы. — А еще есть машины-изверги. Во время войны давили нашего брата, как тараканов. Раз пришлось бегать от танка, в овраге спасся. Слабонервные не выдерживили, сами бросались под гусеницы. Потом видел на дорогах—раскатанные в блин. Вот что такое машина, когда водители ставят идею превыше всего. А ты говоришь, устройство для того, чтобы ездить. Ты парень молодой, горячий, — сказал он, помолчав, — я, помню, таким же был. Рубишь сплеча, без оглядки. Живешь как бы сам по себе. А кругом ведь люди, всю жизнь придется жить с людьми.

— Что вы хотите этим сказать? — насторожился Лешка.

— Есть одно золотое правило безопасной езды, знаешь?

— Нет.

— Живи сам и давай жить другим. Ты его нарушаешь.

Они проехали километров девять. Слева открылась обширная поляна, знакомая Лешке по первой стоянке. Вот корявая пожелтевшая лиственница, на которой когда-то висел умывальник. Вот вмятины в земле — следы от колес вагончиков. Там — груда битых бутылок, тоже памятка. А дальше — желтовато-зеленый малинник, яркий среди тусклых прутастых березок. Здесь он впервые поцеловал Вальку...

Чугреев подрулил к лиственнице, выключил двигатель. Стало слышно, как по мокрому брезенту крыши звонко били капли дождя, падавшие с веток лиственницы.

— Хороший ты парень, Алексей, только с такими

понятиями далеко не уедешь. Забуксуешь. — Чугреев перегнулся через сиденье, откуда-то сзади достал журнал работ, слюнявя палец и быстро поглядывая на Лешку, начал листать страницу за страницей. — Я тебе сейчас кое-что покажу. Вот. — Он загнул лист. — Ты все шумишь на Мосина, считаешь его халтурщиком, рвачом, а на самом деле...

«Мосин говорил правду!» — мелькнуло вдруг у Лешки. Он вспотел от этой мысли, сердце забилось часто и сильно. Чугреев пристально следил за ним иссиня-черными матовыми глазами.

— Это вы приказали Мосину! — выпалил Лешка. — Это подло!

— Ты вот что, — сказал Чугреев, усмехаясь. — Учись говорить по-мужски, а не по-бабьи. Возьми себя в руки и не бросайся словами, как мячиками.

— Воспользовались его безвыходным положением.

— Ты знаешь, что такое приказ?

— Я знаю, что такое совесть!

— А ну-ка, совестливый, реши-ка одну задачку, — и, повышая голос, чтобы не дать Лешке заговорить, Чугреев продолжил: — Война. Ты командир роты. Драпал, драпал со всем фронтом, наконец занял оборону. Окопался в чистом поле, лежишь — не дышишь. Перед тобой село, в селе немцы. Раскатали дома, нарыли дзоты — не сунешься. Смотришь на них, и тоска посасывает: неужто настанет тот злой час, когда тебе, именно тебе, а не какому-то усатому дяде придется выкинуть себя из окопа и бежать зверем по ровнехонькому полю, ловить встречные пули, пока не ткнешься башкой в землю.

Чугреев торопливо закурил, жадно затянулся несколько раз подряд, заговорил, выдыхая на Лешку дым.

— Так вот. Узнаешь об этом внезапно: командира роты Ерошева Алексея срочно к майору. Ползешь в блиндажик. Майор Тарышев Аркадий Дмитрич, редкий был человек, почти старик, но железный. Ротных звал по имени.

— Ну, Алексей...

Только сказал так, а ты уже понял: вот он, тот злой час, дождался. Да и по другим ротным видно — затвердели.

— Ну, Алексей, выдавай своим орлам остатки спирта. Через час подъем.

А ты знаешь: армия отступает, не сегодня-завтра и твоя дивизия откатится на тридцать-сорок километров от этого проклятого села.

— Что случилось, Аркадий Дмитриевич? — якобы удивляешься ты.

— Получен приказ взять село.

— В роте двадцать семь человек, люди измотались, голодные.

— Знаю, — твердо говорит он.

Ты, конечно, возмущаешься:

— Товарищ майор! Это безрассудство, пустое кровопролитие. Зачем посылать людей на верную смерть?

Он смотрит на тебя, бледнеет, но еще сдерживается.

— А что ты предлагаешь, ротный?

— Не выполнять приказ!

Он вытаскивает пистолет, передергивает затвор...

— Ну-ка, Ерошев Алексей, твое решение, быстро! — гаркнул Чугреев и начал считать:

— Раз... два...

У Лешки растерянно забегали глаза. Чугреев прищурился, подался к нему всем корпусом, сказал жестко, сквозь зубы:

— Ты гаркнул бы: «Слушаюсь!», стукнул бы стоптанными каблуками и пополз поднимать роту.

— Это вы так сделали!

— Каждый сделал бы так! И поверь, после атаки, если бы ты чудом остался жив, ты стал бы другим человеком.

— Мы с вами разные люди. Майор застрелил бы меня за неповиновение.

— Это называется дезертирство в смерть. Были и такие, их как собак, выкидывали за бруствер. А кто бы немцев бил, если бы все были такие, как ты, щенок! — Тяжело дыша, он раскрыл журнал, швырнул Лешке. — Вот еще одна задачка...

Лешка сразу узнал развалистый почерк отца.

«В связи с пуском химкомбината в декабре с. г., приказываю: установить срок полного окончания монтажно-сварочных работ, включая продувку природным газом, 1 декабря с. г. Ответственность за выполнение срока возложить на т. Чугреева М. И. Начальник СМУ-2 П. Ерошев».

Ниже была приписка печатным чугреевским почерком: «Замечание. При данном составе бригады и технических средствах трассу невозможно закончить к 1 декабря. Бригадир СМУ-2 М. Чугреев».

И снова корявый отцовский почерк:

«Замечание не принимаю. Изыскивайте внутренние возможности, улучшайте организацию работ, разворачивайте соревнование. Напоминаю, что за срыв срока несете персональную ответственность, вплоть до увольнения. П. Ерошев».

Еще ниже было последнее распоряжение отца:

«На основании расчетов четырехслойного шва на прочность разрешаю во изменение проекта производить сварку в три слоя. Обращаю внимание на недопустимо медленные темпы работ. Обязываю бригадира т. Чугреева М. И. обеспечить дневной шаг бригады в 600 м. Начальник СМУ-2 П. Ерошев».

И снова припечатано замечание:

«Для обеспечения дневного шага в 600 м ток сварки придется поднять выше допустимого. М. Чугреев».

Лешка зажмурился. Крупные слезы закапали на журнал — буквы расплылись синими пятнами. Рука Чугреева мягко легла на плечо, чуть сжала.

— Я, слышь, вскоре после немецкой капитуляции ехал из Пирны — есть такой городок на Эльбе, двадцать километров южнее Дрездена — в Берлин. На «студере» ехал. А ко мне в кузов напросился интендант с бычком. «Студер» новый, автострада ровная, широкая — газу до отказу, тормоза ни разу. Семьдесят пять миль жму — ветер поет. Вдруг — что такое? — по кабине забарабанили. Оказывается, бычок взыграл и на всем ходу выпрыгнул из кузова. Шею себе сломал, дурень.

Чугреев в шутку ребром ладони тихонько постукал по Лешкиной заросшей шее. Лешка вздрогнул, отшвырнул его руку, сверкнул глазами, полными слез, и выскочил из машины.

— Куда ты? Подожди, Алексей! — закричал Чугреев, но Лешка, не оглядываясь, ушел в лес.

До вечера пробродил он по голому черному лесу, глотая слезы, спотыкаясь и падая в мокрую траву. Вслед ему с верхушек сосен испуганно каркали вороны. По небу неслись грязные и рваные, как лохмотья, тучи — над ними без просветов висела серая мгла.

Он вымок и озяб, зато холод прояснил мысли — теперь надо было спокойно все обдумать, принять какое-то колоссально важное решение. Главное — разобраться, кто же все-таки прав? Он — один? Или они — все? Кто идет в ногу, а кто не в ногу?

Поплутав в лесу, он по звуку моторов вышел на просеку. Все три трубоукладчика, с большими интервалами между собой, стояли друг за другом вдоль траншеи — держали на весу вторую плеть. Синий дымок часты-

ми толчками вылетал из выхлопных труб. Четверо такелажников натягивали чалочные веревки, подправляли плеть над траншеей. Яков бегал по вершине земляного вала, помахивал руками и вдруг пронзительно свистнул: «Майна!». Бракованная плеть поплыла в траншею—минута, и она ляжет на раскисшее глинистое дно, а завтра будет намертво приварена к другой бракованной плети.

Лешка понуро поплелся к вагончикам. Под навесом при свете керосиновой лампы Чугреев, Валька и куратор Каллистова Тимофей Васильевич разбирали бумаги, тихо поругивались — видно, готовились закрывать процентовку. Он обошел их стороной — ни видеть, ни слышать никого не хотелось.

В первом зеленом он бросился на полку, уткнулся лицом в подушку. А что, если правы они — практичные, разумные, сговорчивые? А он болтается среди них этаким идиотом, тявкает, как моська на слона, и только мешает...

Но всего обиднее, всего страшнее и непонятнее — отец. Как он врал, изворачивался сегодня утром, хотел увезти его домой, чтобы не мешал им гнать трассу. Значит, отец тоже пешка — такая же, как Мосин, Гошка, Чугреев. Такая же? Да нет, похитрее. Всю жизнь говорил одно, а сам делает другое. То, что можно ему, нельзя мне. А почему? Может быть, именно так и надо жить, как живет он. Может быть, это не так уж и страшно, как кажется. Надо только начать...

По крышке вагончика забарабанил дождь. Рядом за стенкой тоскливо поскрипывали под ветром сосны. Тусклый сумеречный свет лился сквозь замутненное дождем окно.

Лешку пробирал нервный озноб, он устал от мыслей, хотел спать. Чтобы согреться, укрылся с головой одеялом, но слипавшиеся глаза теперь таращились в темноте, словно опухли вдруг и перестали закрываться.

Это был сон в полудреме или давным-давно пережитая явь — ему казалось, будто мелкой дробью гремят барабаны, трубят пионерские горны, а он замер по стойке «смирно» в ровной шеренге перед гранитным монументом на главной площади города. В чистой голубизне майского утра звонко разносится напряженный голос пионервожатой: «...Пионеры! К борьбе за дело великого Ленина будьте готовы!». Чувствуя, как по спине ползут мурашки восторга, он громко повторяет: «Всегда готов! Всегда готов! Всегда готов!» Старшие пионеры повязывают на шею красный галстук. Волнуясь, он отдает салют. Отец, стоящий в первом ряду зрителей, счастливый, растроганный, вскидывает сжатый кулак: «Рот-фронт!»...

Это там, семь лет назад, барабаны, а здесь, сейчас дождь — лупит по крыше вагончика...

Низкий потолок вдруг взлетает до неба, раздвигаются стены, ослепляюще бьют прежектора. Яркими огнями вспыхивает рампа. Двумя пылающими столбами вздымается по краям сцены тяжелый кумачовый занавес.

— В городскую комсомольскую организацию от пионера Ерошева Алексея, — громко, раздельно читает председательствующий, — заявление. Прошу принять меня в ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи...

Лешка стоит у края длинного в белых пятнах листков стола, облизывая пересохшие губы, повторяет в уме слова заявления. Он знает их наизусть.

— ...Обязуюсь быть честным, смелым, принципиальным. Быть всегда и во всем примером. Не бояться трудностей...

В тот же вечер отец написал рекомендацию. Вручая ее, сказал дрогнувшим голосом:

— Даю тебе рекомендацию как член партии. Не подведи меня. Помни: ты внук Сергея Афанасьевича Ерошева, железного коммуниста, революционера, участника гражданской войны.

— ...Обязуюсь все силы, знания, а если потребуется, и жизнь отдать великому делу рабочего класса...

«Принять!» — хором отзывается зал.

С пылающими ушами, с дрожащими коленями он возвращается на место. Ему жмут руку, похлопывают по плечу, поздравляют. «Принят, принят, принят» — радостно отстукивает сердце. Он ничего не слышит кругом, кроме этого оглушающего торжественного стука, ничего не видит, кроме радужных плавающих кругов, отпечатков прожекторов. Потом кто-то подталкивает его сзади, сует в руки листок — «Интернационал». Председатель конференции вдруг как-то неестественно вытягивается, запрокидывает голову и:

Вставай, проклятьем заклейменный...

Как странно звучит его одинокий, вибрирующий от напряжения голос — вот-вот сорвется. Но тут же, подхватывая вторую строчку, весь зал поднимается в едином порыве.

Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный,
И в смертный бой идти готов...

Лешка чувствует, как до рези закручиваются на глазах слезы, сжимается горло. Потупясь, чтобы никто не заметил его сверкающих глаз, он поет глухим непослушным голосом.

Мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем, тот станет всем!

Лешка сжался под одеялом, зажмурился. Чтобы не разреветься, впился зубами в подушку.

Нет, не мог отец врать всегда! Раньше, до этого, никогда не было в его словах фальши — была искренность. Иначе все, все рушится. И вообще он казался добрым, никогда не кричал, не ругался, был справедливым.

Лешка вспомнил, как по вечерам отец частенько заходил к нему в спальню, подсаживался на кровать и, молча, задумавшись о чем-то своем, ласково поглаживал его, осторожно перебирал пальцами волосы. Руки у него были мягкие и добрые. Лешка затихал, чувствуя, как по спине ползают приятные мурашки.

Да, отец добрый, мягкий и какой-то всегда усталый, как невыспавшийся,

Лешку вдруг пронзило: отец боится, боится за свое место. Ведь если они не закончат трассу до пятого декабря, его снимут с работы. Боится! И конечно, не из-за себя — ему ничего не надо — боится из-за семьи. Лешке показалось, что он до самых корней понял отца, а через него и всех остальных: Чугреева, Мосина, рыжего Николая, Гошку. Все они считают газопровод не столь уж важным делом по сравнению со своим благополучием. Как просто все получается: Мосину приказал Чугреев, Чугрееву приказал отец, отцу тоже приказали. Все выполняют приказ, и никого не беспокоит, что газопровод будет липовым: швы потрескаются, начнется утечка газа, и все к чертям взорвется...

Быстро темнело, в углах вагончика сгущался мрак. Окно светилось серым расплывчатым пятном. По крыше порывами хлестал дождь.

Черной тенью в вагончик проскользнула Валька. Он думал, что она покрутится немного и уйдет, но Валька набросила на дверь крючок, поскрипела половицами и затихла где-то в темноте, Снова скрипнули половицы — в двух шагах от себя Лешка различил черный контур ее фигуры. Стоя у окна, Валька медленно раздевалась... Лениво, как бы нехотя, стянула через голову кофточку, потом — юбку. Упруго качнулась высокая грудь. Валька вдруг застонала, исчезла в темноту, слов-

но провалилась. Лешка услышал, как, всхлипнув, она разревелась громко, без удержу, по-бабьи. Он торопливо, кое-как нашарил под подушкой фонарик, сел на полке. Золотистым ворохом соломы вспыхнула под ярким лучом ее прическа. Уронив голову на руки, она сидела за столом. Ее голые покатые плечи с вдавившимися в тело лямками лифчика тряслись от рыданий.

Оробевший, растерявшийся, не зная, чем помочь, он подошел к ней, потрогал за плечо.

— Валя... Валя... успокойся. Что с тобой?

Она затихла, приподняла блестевшее от слез лицо, сказала глухим булькающим голосом:

— Свет выключи, пожалуйста.

— Что случилось, Валя?

— Ничего, — буркнула она, хлюпая носом. — Завтра же уеду отсюда, чтоб вас черти всех съели!

Лешка ощупью вернулся на полку, сердито засопел.

— Ты можешь сказать, что случилось?

Она пошвыркала носом, нашла платок, высморкалась.

— Влипла я, Леха, так влипла! Тимофей Васильевич не закрыл процентовку, потребовал снимки всех швов за месяц. А я дура, наряды не глядя подписывала — на бракованные швы! Вот что теперь делать, а? Я ему пленки, конечно, не дала, но он может привезти комиссию, и нас заставят просветить все швы заново. Представляешь? — Она отрывисто вздохнула. — Старый пес, зараза, хотел на чужом горбу в рай прокатиться. Разорался, как псих. Ну, я ему тоже — отпустила!

— Кому отпустила? — спросил Лешка.

— Кому — Чугрееву, вот кому! Что вот теперь делать, а? Скажи.

Лешка молчал, злорадно ухмыляясь и презирая себя за эту невольную ухмылку.

— Валя, — сказал он дрогнувшим голосом, — ты... любишь его?

— Кого? — удивилась Валька.

— Чугреева.

— Чудак ты, Леха. — Она встала, заслонив окно, пошла ощупью к Лешке. Он включил фонарик.

— Выключи! — крикнула она. Он выключил и почувствовал, как ее руки скользнули по лицу, колени уперлись в колени.

— Ты глупый мальчик, — сказала она мягко и взволнованно. — Ты глупый и смелый мальчишечка...

От ее близости его охватила дрожь, он плохо соображал. Она поглаживала его волосы, почесывала, как котенка, за ухом, склонившись, дышала в лицо парным молоком.

— Помнишь, тогда ты поцеловал меня на коленях? Помнишь? Я как дура бесновалась всю ночь... А потом у реки... Я так боялась за тебя...

Вздрагивая и задыхаясь, он прикоснулся к ее горячему телу, тут же отдернул руки. Она приникла к нему пылающим лицом.

— Выходи за меня, — прошептал он шершавым, еле ворочавшимся языком.

— Нет... любить тебя, но замуж... нет. — Она расстегнула его рубашку, прижалась грудью к груди, тихо, отрывисто засмеялась: — Ну...

Она уснула у него на плече. Он ласково касался губами ее бровей, дышал в щекочущие локоны, счастливо пофыркивал от нового странного ощущения всего себя. Ему казалось, что это не он лежит так, вольно раскинувшись на полке, а какой-то широкий, здоровенный мужик, в шкуру которого он временно влез. Хотелось небрежным движением согнуть в локте могучую руку, притиснуть Вальку, чтобы она проснулась, пощупала его тугие бицепсы и сказала: «Ого!». Тогда бы он легко подхватил ее и стал подбрасывать, а она повизгивала бы от восторга и хохотала. Потом они поженились бы и уехали куда-нибудь далеко-далеко, на Сахалин, например, или на Камчатку. Чтобы были чистые прозрачные ручьи, голубые или зеленоватые, и песчаные дюны, застывшие вдоль океанского побережья белыми сверкающими волнами. Чтобы стояла на самой высокой дюне бамбуковая хижина, и они выбегали бы из нее рано-рано и, оцепенев от простора и великолепия, смотрели бы, как из-за сизого круглого океана выползает огромное оранжевое солнце...

Валька пошевелившись, откинулась к стене, забормотала что-то бессвязное, злое. Лешка вздрогнул. Дюны, хижина, оранжевое солнце над сизым океаном — все исчезло, осталась ночь, скрип сосен за стеной вагончика и Валькин торопливый гневный шепот. Осталось то, что надо было преодолевать сегодня, завтра, послезавтра...

Его сердце сжалось — ведь если действительно приедет комиссия и заставит заново просветить швы... От мысли, пришедшей внезапно, его пробрал веселый озноб. Разрезать бракованные швы! Во-первых, он спасет Вальку, во-вторых, остановит халтуру: они варят, а он будет резать. Все равно, рано или поздно придется резать. Лешка вскочил, быстро оделся.

Холодная мгла застилала поляну. Черными тушами громоздились у траншеи трубоукладчики. Продолговатые, как снаряды, лежали на бровке баллоны со сжатым газом. В черной могильной глубине траншеи серой полосатой змеей тянулась труба.

Освещая плеть фонариком, он прошелся вдоль нее, посчитал стыки — десять бракованных швов в одной плети да столько же в другой. Приглядевшись попристальней, он заметил на трубах, рядом со стыками кривые белые кресты — вечером их не было, значит, кто-то оставил эти меловые знаки совсем недавно. Ему почудилось, будто впереди, за трубоукладчиками что-то тихо звякнуло и заскрипело. Прислушался — ничего. Тогда он подбежал к баллонам, приоткрыл тугие краны — в темноте у траншеи тонко застистел из горелки газ. Он не знал, что там, впереди, в промозглой черноте, откуда прилетели эти странные случайные звуки, взмокший от пота, подхлестывая себя матерками, Мосин перетаскивал по грязи САК. Лешка не знал, что вот уже два дня этот «рвач и халтурщик» тайком приглядывался к своим швам, колупал их корявыми пальцами, вздыхал и, наконец, сегодня, вздремнув пару часов после ужина, вышел подправлять бракованную плеть. Лешка этого не знал...

Тонкое яркое пламя со свистом и шипением прогрызало в трубе черную узкую щель. Словно в жестокой схватке с пламенем металл раскалялся добела, держался из последних сил и вдруг таял и бежал тяжелыми светящимися каплями. Вот оно, оранжевое солнце над сизым океаном!

Лешка спешил. Злость и радость клокотали в нем кипящим металлом. Лешка спешил. Шов сдавался — щель росла. Пламя выжигало шов начисто. Лешка спешил. Это не шов — это сама подлость и ложь разлетаются шипящими брызгами. Пламя сильнее металла. Металлу больно, мучительно больно — это видно, хорошо видно сквозь темные очки. Но пусть, пусть больно, зато здесь будет чистый стык, зато здесь будет добротный шов — без подлости и лжи. Здесь будет настоящий шов...

Чья-то мощная злая рука схватила Лешку за шиворот, рванула вверх. Он успел сдернуть очки. Чесночный запах ударил в нос.

— Тварина!

Мосин вцепился в горелку. Лешка откинулся на трубу, уперся ногами в землю.

— Не дам!

Четыре руки сжимали шипящую горелку — пламя хлестало и резало ночной воздух. Мотаясь, оно лизнуло Мосина по лицу. Дико взревев, он бешеным рывком, ломая Лешкины руки, развернул пламя ему на грудь. Мгновенно прогорела брезентовая куртка. Затрещало, задымило пожираемое пламенем тело. Яростный крик отбросил Мосина на дно траншеи, в хлюпкую глинистую грязь.

Медленно разжались Лешкины пальцы — горелка поползла по скользкой трубе, булькнула в темноту, заклокотала, зашипела там, выбросив облако пара...

Разгоняя в клочья утренний туман, вздымая опавшие листья, на поляну приземлился вертолет.

С лицом серым, набрякшим от тревоги, Павел Сергеевич кинулся к вагончикам. За ним, еле поспевая, путаясь в полах плаща, побежал человек с докторским баульчиком в руках.

В первом зеленом было тесно. Монтажники стояли возле нижней полки, заслоняя лежащего там Лешку.

Как слепой, раздвигая трясущимися руками людей, Павел Сергеевич протиснулся к полке и... замер — как застыл.

Лешка лежал ногами к выходу, укрытый до подбородка суконным одеялом. Лицо его в тени было пепельно-белым, неподвижным, как гипсовая маска. Из-под полуприкрытых век тускло блестели холодные глаза.

Пристально вглядываясь в лицо сына, Павел Сергеевич прошептал замерзающими губами:

— Он жив... он спит? Доктор... он спит... да, да...

Доктор нервно протер очки, склонился над Лешкой. Стало слышно, как нудно зазвенел комар... И вдруг, взламывая тишину, истерически вскрикнула, истошно заголосила, закричала Зинка:

— Ле-е-шенька... сокол ты ясногла-а-зый... Ох, Леша, Ле-е-шенька...

Павел Сергеевич дернулся, дикими глазами повел по сторонам, тяжело рухнул на колени. Пенсне сорвалось с переносицы, с хрустом стукнулось об пол. Хватаясь за одеяло, он пополз к изголовью.

ГАЛЕРЕЯ «АНГАРЫ»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Никогда еще не было так оживленно и людно на художественном отделении Иркутского училища искусств, как в июньскую пору нынешнего года — время защиты дипломных работ. Никогда до этого так разнообразно, колоритно и ярко не представляло к защите своих питомцев художественное отделение. Один за другим, в течение пяти дней, «защищали» перед квалификационной комиссией свои дипломные работы те, кто кропотливо и упорно постигал сложное ремесло художника под руководством опытных педагогов.

И вот училище окончено. В строй деятелей культуры вливается отряд преподавателей черчения и рисования, художников декораторов-оформителей, художников керамиков — кстати, это первый выпуск самого молодого в училище отделения. В строй становятся сеятели доброго и прекрасного, готовые своим трудом в искусстве воспеть величие и красоту советского человека, украсить его быт и жизнь. И отряд этот не мал: в этом году закончили художественное училище семьдесят два человека.

Работы дипломников получили высокую оценку. Я воспользуюсь случаем и приведу слова председателя государственной экзаменационной комиссии профессора Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское) Виктора Петровича Калмыкова: «...Защита дипломных работ показала очень высокий уровень подготовки учащихся в училище, что доказывает также весьма хорошие рабочие качества педагогического коллектива художественного отделения».

Говоря о хорошем уровне защиты, хочется отметить самое яркое, сказать о тех работах, что представлены сегодня на вклейках «Ангары».

Выпускник Геннадий Котухов защищал оформление книги «Чукотская сага». Он не случайно выбрал эту тему. Геннадий служил на Чукотке в рядах Советской Армии. Северная экзотика края, его скромные выносливые люди волновали его сердце. И эту влюбленность в суровую землю и ее людей отлично передают листы иллюстраций к книге, выполненные в технике линогравюры. Листы хороши в композиционном отношении, в трактовке темы и стиле исполнения.

Другая работа этого плана — оформление Николая Мигулина к книге Черкасова «Хмель». Молодой художник графическими средствами прекрасно передает драматизм, сложность отношений героев и контраст старого и нового.

На хорошем профессиональном уровне исполнены резьба по металлу для интерьера ресторана «Алмаз» Леонида Щербинина, мозаика для политехнического института Валентины Седых, чеканка по металлу для фойе локомотивного депо Владимира Молева. Интересные, наполненные политическим звучанием плакаты представили к защите Герман Щербаков и Геннадий Неупокоев. Виртуозно выполнен коммерческий плакат Николая Качана.

Не могу обойти молчанием эскизы костюмов к спектаклю «Моя прекрасная леди», выполненные Людмилой Добролюбовой. Зал горячо аплодировал ей, когда были продемонстрированы модели платьев.

Особого восхищения и высокой оценки удостоились работы выпускников керамического отделения. Они привлекают внимание неожиданным решением, оригинальностью формы и манерой исполнения, необыкновенно красивы по цвету, несут яркий художественный образ.

Сервиз для пельменей выполнила Л. Староверова. Весь набор отличается простотой формы, художница с тактом орнаментировала его. Большая теплота и сдержанность — вот что присуще этой работе.

В. Шабалин создал прекрасный ансамбль сервиза «Хоровод». Форма оживает, и кажется плывут и плывут в хороводе пары... Сервиз этот «многососуден» и предназначается для больших праздничных застолий.

Монументален, строг и предельно чист чайный сервиз М. Фарносовой «Новгород». Не оставляют равнодушными и другие работы керамического отделения: чайный сервиз Л. Эновой, сервиз для блинной Г. Иванова, декоративные вазы Л. Лобовой, декоративные пластины Ю. Мандаганова и Л. Грикит.

Выпускники отделения получили хорошую академическую и производственную выучку. «Дипломные работы в проектной части в материале по качеству и полноте проработки выполнены на уровне, соответствующем почти требованиям высшей школы», — пишет в своем заключении профессор В. П. Калмыков.

Существует в училище и вечернее отделение. Работы его выпускников также получили хорошую оценку экзаменационной комиссии. Отлично защитили свои работы В. Шаргин (камерная деревянная скульптура), Заграничная (проекты упаковок промтоваров).

Надо сказать, что огромную роль в подготовке выпуска сыграл весь педагогический коллектив и особенно те, кто непосредственно руководил дипломным проектированием. Это педагоги художники Б. Бычков, М. Воронько, Л. Гимов, Г. Домашенко, Е. Коваль, А. Штанько.

А жизнь идет... Еще не кончены дела с выпускниками, еще хлопотно в кабинете директора Ф. К. Даниловой, а в аудиториях с утра уже работают абитуриенты, раздумывают, как решить первый экзамен по композиции.

Г. В. Анциферов, художник.

НАШИ ГОСТИ ИЗ МОНГОЛИИ

С. ДАШДООРОВ

УТРО ГОБИ

У ног моих замер
сыпучий песок.
Глаза поднимаю —
барханы без края...
Мгновенье —
и солнцем разбужен восток,
И желтые волны
взметнулись, играя.
И вот уже гребни
огнем занялись,
горят!
А меж ними —
чернеют провалы...
У ног моих —
нет, не пустыня.
Вглядись:
то тигр — великан
распростерся усталый.
А мягкая шкура его
горяча.
По ней
золотые лучи пробегают
и, длинные тени свои волоча,
верблюд с верблюдицею
к солнцу шагают.

Перевел С. Иоффе

ТВОЯ КРАСОТА

В чем твоя красота!
Не в лице ли таинственно смуглом!
Не в зрачках ли — темнее воды!
Не в твоих ли веселых песнях,
что излечивают от беды!
В чем твоя красота!
Иль в улыбке лукаво тихой!
Или в косах твоих — до пят!
Или в нежном изгибе линий,
что меня без вина пьянят!
В чем твоя красота!
Не в счастливой ли нашей доле!
Не в удачливой ли судьбе!
Не в твоем ли доверчивом сердце!
Не в любви ли моей к тебе!
В чем твоя красота.

Перевел С. Иоффе

Д. ТАРВА

КОГДА ОТПРАВЛЯЕШЬСЯ В ПУТЬ

Со степных благодатных просторов плывет
Запах трав молодых, лепет вешней талины.
И лишь вздыбится конь, устремляясь вперед,—
Под конем всколыхнутся луга и долины.
Конь буланый лишь сделает первый прыжок—
И душа уже будущей встречею тронута.
Яркий образ любимой, что сердце ожег.
Замелькал впереди на холмах горизонта.
Этот образ, он путь мне укажет во мгле.
Мои чувства готовы и с грозами драться.
Среди множества разных чудес на земле
Что быстрей нашей мысли! Порой не угнаться.
Принимая твой образ, ликует луна.
Все дороги к тебе нетрудны и недлинны.
Если мысли легки, легок бег скакуна,
Позади остаются луга и долины.

Перевел Инн. Новокрещенных

Ч. ЧИМИД

ФЛЕЙТИСТ

Насторожились пальцы, вздрогнули, вспорхнули.
Вдруг, полый и немой, заговорил тростник.
И уплываем мы сквозь осень, сквозь весну ли
Туда, где люд воспрянул, туда, где в скорби сник.
Мелодия грустит — в печаль сердца ввергает.
Задорный, бойкий ритм — людей зовет в полет.
И каждый новый звук в пространство убегает,
Оставив только след, который в нас живет.
А флейта вновь, как ветер, что в зной колышет лозы,
Поет и замирает... Тревожный зал притих.
И чувствует флейтист, дрожат на лицах слезы,
Те слезы, что прозрачней алмазов дорогих.

Перевел Инн. Новокрещенных

А. СТРУГАЦКИЙ, Б. СТРУГАЦКИЙ

СКАЗКА О ТРОЙКЕ

ДЕЛО № 72. ПРИШЕЛЕЦ КОНСТАНТИН

Утреннее солнце, вывернув из-за угла, теплым потоком ворвалось в раскрытые окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. «Народу это не нужно», — объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя Выбегаллу. Выбегалло, размахивая портфелем, горячо толковал ему что-то по-французски, а Хлебовводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, разбоевался...» Когда комендант задернул шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой, извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил:

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: «Вот злонравия достойные плоды!», укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измочаленного и измолоченного, пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и время от времени непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаг на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю, поклокотал горлом и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.

— Дело семьдесят второе, — забарабанил он, — Константин Константинович Константинов двести тринадцатый до новой эры город Константинов планеты Константины звезды Антарес...

— Я бы попросил! — прервал его Хлебовводов. — Ты что это нам читаете? Ты это нам роман читаете? Или водевиль? Ты, братик, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль.

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.

— Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебовводов, — бросили меня заведующим курсов квалификации среднего персонала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове... Ну да, точно, в Саратове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в Саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в Сибири... Нет, — сказал он с сожалением, — не в Саратове это было. В Сибири это и было, а вот в каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо бы там, в этом городе...

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать.

— Лавр Федотович, — прочувственно сказал Хлебовводов. — Забыл, понимаете, город. Ну, забыл и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню... Только пускай он по форме, пускай пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается...

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью. — Национальность...

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту:

— Сначала. Сначала! Сызнова читайте!

— Пункт первый, — сказал комендант. — Фамилия...

Пока он читал сызнова, я рассматривал Эдиков реморализатор. Это была плоская блестящая коробочка со стеклами, похожая на игрушечный автомобильчик. Эдик управлялся с этим приборчиком удивительно ловко. Я бы так не мог. Пальцы у него двигались, как змеи. Я загляделся.

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов. — В Херсоне это было, вот где... Ты, давайте, продолжайте, — сказал он вздрогнувшему коменданту. — Это я так, вспомнил... — Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты лица товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.

— Пункт шестой, — нерешительно зачитал комендант. — Образование: высшее син... кри... кре... кретическое.

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся.

— Какое? Какое образование?

— Синкретическое, — повторил комендант единым духом.

— Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича.

— Это хорошо, — веско произнес Лавр Федото-

[1] Окончание. Начало в № 4.

вич. — Мы любим самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря.

— Чего-чего? — сказал Хлебовводов.

— Все, — повторил комендант. — Без словаря.

— Вот так самокритическое, — сказал Хлебовводов. — Ну ладно, мы это проверим.

— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: читатель поэзии, амфибрахист, пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...

— Подождите, — сказал Хлебовводов. — Работает-то он где?

— В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант. В краткосрочном.

— Это я без тебя понял, — возразил Хлебовводов. — Я говорю: специальность у него какая?

Комендант поднял папку к глазам.

— Читатель... — сказал он. — Стихи, видно, читает.

Хлебовводов ударил по столу ладонью.

— Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. — Что он читает, это я слышал. Читает и пусть читает в свободное от работы время. Специальность, говорю! Работает где, кем?

Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел.

— Его специальность — читать поэзию, — сказал я. — Он специализируется по амфибрахию.

Хелобовводов посмотрел на меня с подозрением.

— Нет, — сказал он. — Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там... то, се... Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему зарплату плотят.

— У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я.

— А! — обрадовался Хлебовводов. — Безработный! — Но он тут же опять насторожился. — Нет, не получается!.. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь тут что-то...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер семьдесят два.

— Читатель поэзии, — быстро сказал Выбегалло. — И вдобавок... эта... амфибрахист.

— Место работы в настоящее время, — сказал Лавр Федотович.

— Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значит, краткосрочно.

Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова.

— Имеются еще вопросы? — осведомился он.

Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высокая доблесть солидарности с мнением начальства бьется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.

— Что я должен сказать, Лавр Федотович, — залебезил Хлебовводов. — Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахий там... то, се... И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук... А вот читатель. Нет же в номенклатуре такой профессии! И понятно, что нет. А то как это получится? Я, значит, стишки почитываю, а мне за это — блага, мне за это — отпуск... Вот что я должен уяснить.

Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу.

— Заслушаем мнение консультанта, — объявил он. Выбегалло поднялся.

— Эта... — сказал он и погладил бороду. — Товарищ Хлебовводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи — се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди[1]. Но всякие ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпё[2], всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать... эта... определенному, значить, курсу, не терять из виду маяков и... эта... ле вин этире или фо ле буар[3]. Мое личное мнение вот такое: эдэ-туа э дьё тедера[4]. Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя снизу товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля...

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал:

— А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый...

— Вуаля, — с горечью сказал Выбегалло, — ледукасьён кон донно женфом дапрезан![5]

— Вот я и говорю: пускай, — повторил Хлебовводов.

— У них там очень много поэтов, — объяснил я. — Все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо неорганизованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни специализируются по ямбу, другие — по хорею, а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех это, естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска.

— Это я все понимаю! — проникновенно вскричал Хлебовводов. — Ямбы там, александриты... Я одного не понимаю: за что же ему деньги платят? Ну, сидит он, ну, читает. Вредно, знаю! Но чтение — дело тихое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кимарит, сачок? Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один... Сидит на заседании и вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле — спит, прощелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами... Так вот я и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен — работает человек или, наоборот, спит?

— Это все не так просто, — вмешался Эдик, оторвавшись от настройки реморализатора. — Ведь он не только читает: ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость... Это очень, очень тяжелая профессия, — заключил он. — Константин Константинович — настоящий герой труда.

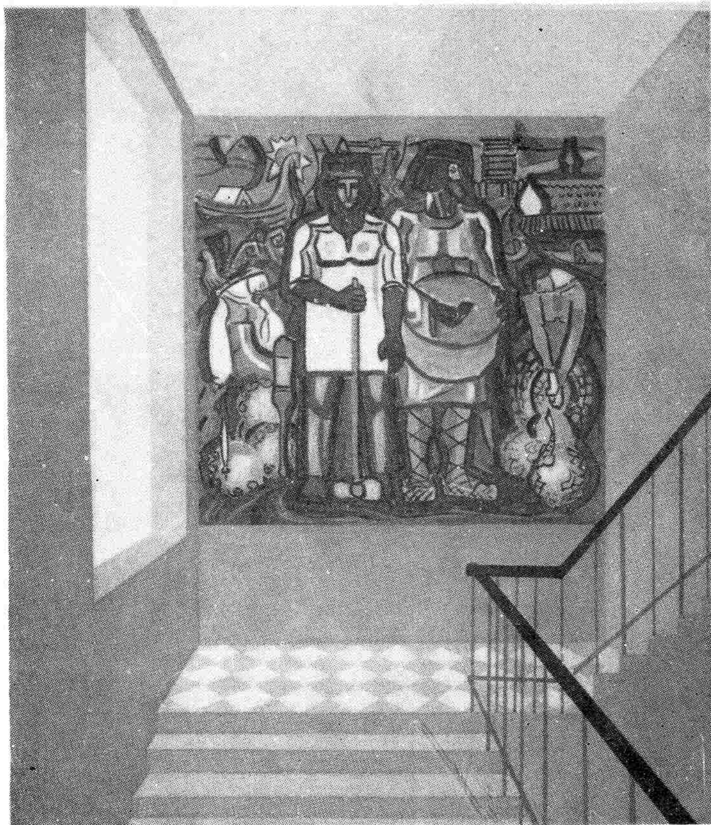
— Да, — сказал Хлебовводов. — Теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая.

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — произнес Лавр Федотович.

---

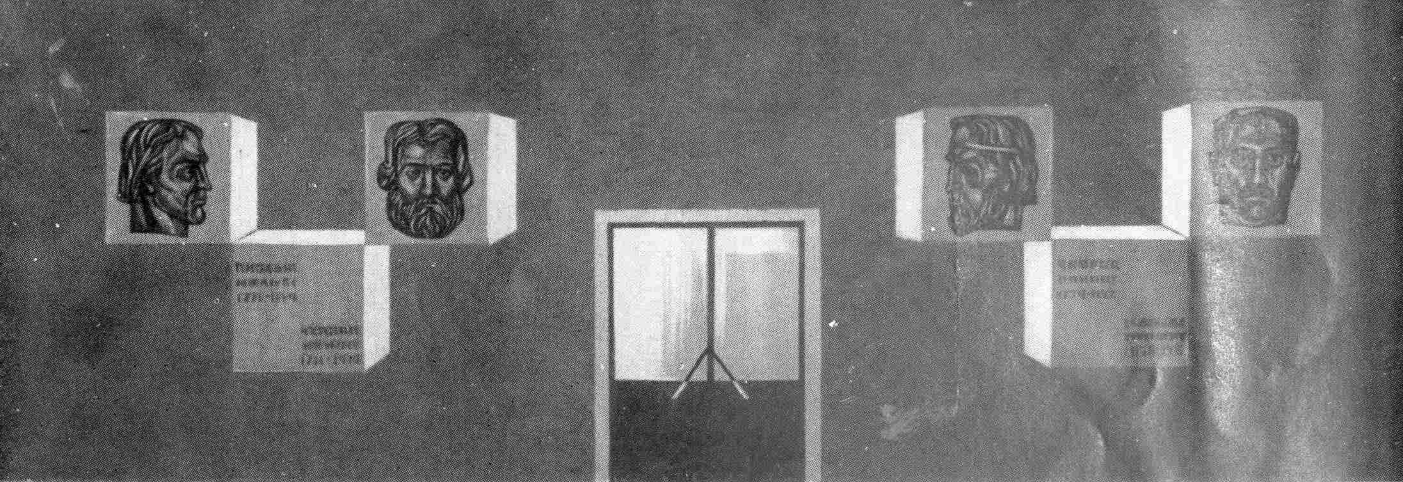
[1] Я говорю вам это, положа руку на сердце.
[2] Я вас спрашиваю.
[3] Когда вино откупорено, его следует выпить.
[4] Помогай себе сам, тогда и бог тебе поможет.
[5] Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям.

В. Седых. Декоративная вставка «Землепроходцы», выполненная для политехнического института



В. Седых. Фрагмент декоративной вставки «Землепроходцы» (мозаика)





В. Молев. Интерьер вестибюля депо станции Иркутск II



Б. Бадмажанов. Переселенцы (масло)

В. Шаргин. Камерная скульптура (дерево)





Г. Котухов. Иллюстрации к книге Ю. Рытхеу «Чукотская сага»





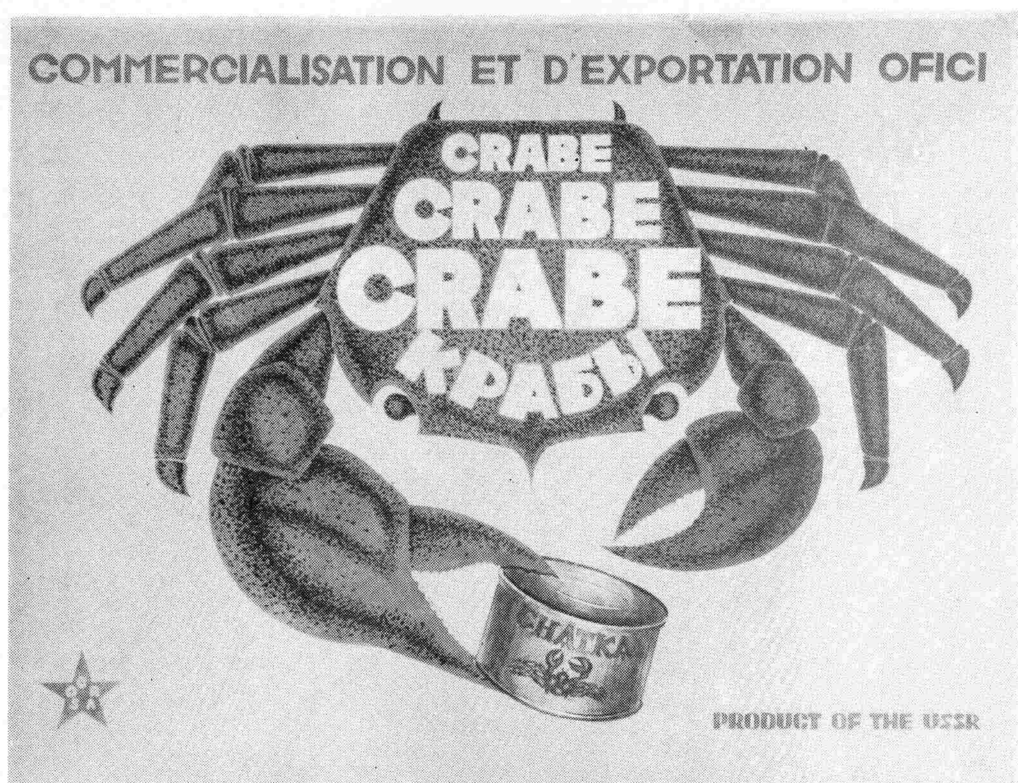
Л. Эпова. Чайный сервиз «Зимний» (керамика)



В. Шабалин. Сервиз «Хоровод» (керамика)



Щербинин. Декоративная вставка для интерьера ресторана «Алмаз» (металл)



Н. Кочан. Рекламный плакат



Л. Староверова. Сервиз для пельменей (керамика)

Комендант вновь поднес папку к глазам.

— Пункт девятый. Был ли за границей: был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапа-Нуи.

Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебовводов тотчас подхватился.

— Это чья же нынче территория? — обратился он к Выбегалле.

Профессор Выбегалло, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом отослал его ко мне.

— Дадим слово молодежи, — сказал он.

— Территория Чили, — объяснил я.

— Чили, Чили... — забормотал Хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил. — Ну, раз Чили — ладно тогда, — решил Хлебовводов. — И четыре часа только... Ладно. Что там дальше?

— Протестую! — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше:

— Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности: разумное существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под названием летающее блюдце...

Лавр Федотович не возражал, Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал:

— Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках... Тут большой список.

— Читайте, читайте, — сказал Хлебовводов.

— Семьсот девяносто три лица, — предупредил комендант.

— И не пререкайтесь. Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво.

Комендант вздохнул и начал:

— Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же...

— Ты это чего? Ты постой... Ты погоди... — сказал Хлебовводов, от изумления утратив дар вежливости. — Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?

— Как написано, так и читаю, — огрызнулся комендант и продолжал, повысив голос: — Зе, И, Й, Ке...

— Гррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество.

— Одну минутку, — вмешался я. — У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть собрачников четырех различных полов, двести семь детей пяти различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.

На Выбегалло надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку — я готов был скомандовать упреждающий атомный удар, однако все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебовводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся что-то нашептывать ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотович спустил обслюненный бинокль, прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом:

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал:

— Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства: Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константия, город Константинов, вызов 457 дробь 14-9. Все.

— Протестую, — сказал Фарфуркис окрепшим голосом.

Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Опала кончилась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел: — Я протестую! В описании возраста допущена явная нелепость. В анкете указана дата рождения — двести тринадцатый год до новой эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного.

Хлебовводов ревниво спросил;

— А может быть, он горец, откуда вы знаете?

— Но позвольте! — вскричал Фарфуркис. — Даже горцы...

— Не позволю я, — сказал Хлебовводов. — Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет! — и он победоносно поглядел на Лавра Федотовича.

— Народ... — произнес Лавр Федотович. — Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ, пребывает вовеки.

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, прикидывая, в чью же пользу высказался председатель. Ни тому, ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем Лавр Федотович произнес:

— У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет? Пусть дело войдет.

Комендант закусил губу, вытащил из кармана перламутровый шарик и, зажмурившись, сильно сжал его между пальцами. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы: он был в комбинезоне, заляпанном флюоресцентной смазкой, передние руки его были в рабочих металлических перчатках, а задние он торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное, деловое выражение. По комнате распространился сильный запах Большой Химии.

— Здравствуйте, — сказал Константин обрадованно, сообразив, наконец, куда попал. — Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении, мне только и остается, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, — что мне нужно? — он принялся загибать пальцы на правой передней руке. — Лазерную сверлильную установку — но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на тысячу яиц каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо бы еще квалифицированного инженера, и чтобы разрешили работать в лабораториях ФИАНА...

— Так какой же это пришелец? — с изумлением и негодованием произнес Хлебовводов. — Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?

— Я — Константин из системы Антареса... — Константин смутился. — Я думал, что вы уже все знаете... Меня уже опрашивали, я анкету заполнял... — Он за-

метил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. — Ведь это вы меня спрашивали, верно?

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле.

— Так это, по-вашему, пришелец? — язвительно спросил он.

— Эта... — сказал Выбегалло с достоинством. — Современная наука не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ Хлебовводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников... Джордано Бруно, например, высказался по этому вопросу вполне официально... Академик Волосянис Левон Альфредович тоже... и... эта... писатели, Уельс, например, или, скажем, Чугунец...

— Странные какие-то дела творятся, — сказал Хлебовводов с недоверием. — Пришельцы какие-то странные пошли...

— Я вот смотрю фотографию в деле, — подал голос Фарфуркис, — и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина — четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?

Выбегалло разразился длиннейшей французской цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал:

— Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом.

Константин повиновался.

— Так-так-так, — сказал Фарфуркис. — С этим мы разобрались... Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу... да, четыре. Носа нет. Да... Рот крючком. Все правильно.

— Ну, не знаю, — сказал Хлебовводов. — О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось там, что если бы пришельцы существовали, они давали бы нам о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет, а есть выдумка недобросовестных лиц... Вы — пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина.

— Да, — сказал Константин, попятившись.

— Знать вы о себе давали?

— Я не давал, — сказал Константин. — Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему...

— Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом дело и есть. Дал о себе знать — милости просим, хлеб-соль выносим, пей-гуляй. А не дал — не обессудь. Амфибрахий амфибрахием, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение.

— Гррм, — произнес Лавр Федотович. — Кто еще желает высказаться?

— Я, с вашего позволения, — попросился Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако мне кажется, что несмотря на загруженность работой мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я — за более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдительности, с другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности.

— Чего это мы будем подменять собой милицию? — сказал Хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.

— Прошу прощения! — сказал Фарфуркис. — Не подменять собой милиции, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому поводу... — Голос его повысился до торжествующей звонкости. — «В случае, когда идентификация, произведенная научным консультантом совместно с представителями администрации, хорошо знающим местные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации совместно с уполномоченным Тройки или на одном из заседаний Тройки». Что я и предлагаю.

— Инструкция, инструкция, — сказал Хлебовводов гнусаво. — Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик четырехглазый... время будет у нас отнимать. Народное время! — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича.

— Почему же это я жулик? — осведомился Константин с возмущением. — Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец, вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова...

— Клевета! — наливаясь кровью, заорал Хлебовводов. — Оговаривают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут... Ни одного взыскания... Всегда с повышением...

— И опять врете, — хладнокровно сказал Константин. — Два раза вас выгоняли без всякого повышения.

— Да это навет! Лавр Федотович!.. Товарищи!.. Много на себя берете, гражданин Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители... Набрал, понимаете, родственников целое учреждение...

— Гррм, — проговорил Лавр Федотович. — Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал, Хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно тщась прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако видно было, что все его старания пропадают втуне, и в четырехглазом безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.

— Поскольку других предложений не поступает, — провозгласил Лавр Федотович, — приступим к расследованию дела. Слово предоставляется... — Он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер. — ...Товарищу Фарфуркису.

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, свершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и наконец приступил:

— Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?

— Я мог бы показать вам свой бортовой журнал, — сказал Константин. — Но, во-первых, он не транспортабелен, а, во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию,

обязана оказывать помощь потерпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы неспособны оказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо... Тут нет ничего постыдного...

— Минуточку, — прервал его Фарфуркис. — Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя... Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, не транспортабелен. Но может быть, Тройка получит возможность осмотреть оный журнал непосредственно на борту вашего корабля?

— Нет, это тоже невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.

— Ну, что ж, это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но в таком случае вы, быть может, представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения?

— Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны... Но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?

Фарфуркис с сожалением покачал головой.

— Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы, например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью лапами, и у меня нет никаких оснований...

— Тогда, может быть, вид моего корабля... Вид, достаточно необычный для вашей земной техники...

Вновь Фарфуркис покачал головой.

— Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш атомный век члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.

— Я могу читать мысли, — сообщил Константин. Он явно заинтересовался.

— Телепатия антинаучна, — мягко сказал Фарфуркис. — Мы в нее не верим.

— Вот как? — удивился Константин. — Странно... Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов...

— Навет! — хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк.

— Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что телепатия не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна, и что мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народов от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?

— Чувствую, — согласился Константин. — Но если бы я, скажем, сейчас при вас немного полетал?

— Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим.

Константин вопросительно посмотрел на нас. Мне казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним, как дамоклов меч. А Эдик все возился со своей игрушкой, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал:

— Давайте, Костя.

Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом с различными трансформациями живого коллоида и с критическим состоянием органов отражения. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос Пришельца:

— Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили.

И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Хлебовводов ни на что не обращал внимания — или делал вид, что не обращает. Он нацарапал еще одну записку, перебросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами. А Выбегалло мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка, Зубо подхватил ее и передал Хлебовводову.

Я посмотрел на Эдика. Эдик держал реморализатор на раскрытой ладони, вглядываясь одним глазом в зеркальное окошечко и осторожно подкручивая крошечный верньер. Я затаил дыхание и стал смотреть и слушать.

— Скачок в тысячу лет, — тихо сказал Выбегалло.

— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник.

— Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Выбегалло. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы.

— Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите видеть?

— Какая разница, — сказал Выбегалло, — раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел.

Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Хлебовводов отшвырнул карточку, написал новую записку, и Зубо снова склонился над клавиатурой.

— Я знаю, что мы должны отказаться, — сказал Выбегалло. — И знаю я, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение.

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, — сказал Фарфуркис. — Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие.

— Наши внуки и, может быть, даже дети, уже воспринимали бы все как данное.

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать, как данное.

— Моральные критерии гуманизма, — сказал Выбегалло, слабо усмехнувшись.

— У нас нет других критериев, — возразил Фарфуркис.

— К сожалению, — сказал Выбегалло.

— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз, когда

человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало.

— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. — Выбегалло посмотрел на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый, я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я — против территориального контакта... Это ненадолго! — возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца. — Вы должны нас правильно понять... Я уверен, что это — ненадолго. Дайте нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса, мы еще по пояс в хаосе... — Он замолчал и уронил голову на руки.

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса.

— Я могу лишь повторить то, что говорил раньше, — негромко сказал Фарфуркис. — Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки... Я абсолютно уверен, — вежливо добавил он, — что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости. — Он коротко поклонился в сторону Пришельца.

— Вы? — вопросительно произнес Лавр Федотович.

— Категорически против всякого контакта, — отозвался Хлебовводов, продолжая писать. — Категорически и безусловно. — Он перебросил Зубо очередную записку. — Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут.

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи.

— Мне нелегко сейчас говорить, — начал Лавр Федотович. — Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов, не только точных, но и торжественных. Однако здесь, у нас, на Земле, все патетическое в силу обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете и как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор, мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами, пропасть, и без того едва преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами, как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и если не одобрены, то по крайней мере приняты к сведению.

Выбегалло и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Хлебовводов получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.

— Неравенство между нашими цивилизациями огромно, — продолжал Лавр Федотович. — Я не говорю о неравенстве биологическом — природа одарила вас гораздо более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном — вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом — по самым скромным подсчетам вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства, — о гигантском психологическом неравенстве, которое и является главной причиной неудачи наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда, мы не понимаем, зачем ВАМ нужна дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум неспособен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает для нас прежде всего угрозу немыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш атропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности — все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству, а, видит бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим, как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закосненелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая придет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта — она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это и, категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не

собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы со своей стороны предлагаем...

Лавр Федотович возвысил голос, и все встали.

— Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций.

Лавр Федотович кончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только Хлебовводов и Пришелец.

— Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, — резко и сухо заговорил Хлебовводов, — я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения...

— Хватит? — шепотом спросил меня Эдик.

Все застыли, как на фотографии.

— Не знаю, — сказал я. — Жалко. Век бы слушал.

— Да, неплохо получилось, — сказал Эдик. — Но кончать надо. Такой расход мозговой энергии...

Он выключил реморализатор, и Фарфуркис сейчас же заныл:

— Ну, товарищи!.. Ну, невозможно же работать, ну куда это мы заехали!..

Выбегалло пожевал губами, мутно огляделся и полез в бороду чесаться.

— Точно! — сказал Хлебовводов и сел. — Надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я что? Я — пожалуйста! Не хотите его в милицию, — не надо. А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе две руки...

— Не берет! — горько произнес у меня над ухом Эдик. — Плохо дело, Саша... Нет у них морали, у этих канализаторов...

— Грррм, — сказал Лавр Федотович и разразился небольшой речью, из которой следовало, что общественности не нужны необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение, что рассмотрение дела номер семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К. К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К. К. материальной помощи, то Тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собою идентифицированное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К. К. как таковое явление еще не идентифицирован, то вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее — до момента идентификации...

Большая Круглая Печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Константин же, который в ситуации так до конца и не разобрался и которого уже давно распирало, демонстративно, очень по-нашему, плюнул и исчез.

— Это выпад! — радостно закричал Хлебовводов. — Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал!

— Возмутительно, — согласился Фарфуркис. — Я квалифицирую это как оскорбление.

— Я же говорил — жулик! — сказал Хлебовводов. — Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы пометет в четыре руки!..

— Не-ет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Здесь уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете, это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное!

Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мычал и не телился. Я прокашлялся и попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не очень охотно — глаза уже возбужденно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти — драть.

Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я указал, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятого между некоторыми народами севера, но что товарищ Фарфуркис вряд ли все-таки воспринял бы это потирание как унижение его положения члена Тройки. Что касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма... (Чего там — функция! — заорал Хлебовводов. — Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!») Наконец, нельзя упускать из виду возможность интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве...

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и, наконец, покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов продолжал еще угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданную сторону. Он вдруг обрушился на коменданта, который до сих пор, считая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента.

— Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в Колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечер-

ний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демонстрациям заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены самим себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов, например, дух некоего Винера, даже не понимают, где они находятся. В результате — аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию Колонии и несомненно находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда. И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно халатного отношения коменданта Колонии товарища Зубо к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это в свою очередь есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной: «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо, строго предупредить и обязать его повысить уровень воспитательной работы по вверенной ему Колонии!

Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебовводов. Речь его была несвязна, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого смысла, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебовводов орал: «Я тебя поплюююсь!.. Ты понимаете что или совсем ошалели?..» «Грррм», — сказал наконец Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами. Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К. К. получил предупреждение в деле за хождение по потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов — за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К. К. Выбегалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.

— Других предложений нет? — осведомился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: — Есть также предложение напомнить некоторым представителям снизу о необходимости более активно участвовать в работе Тройки.

Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась, все — даже комендант — повеселели. Только Эдик нахмурился, погрузившись в задумчивость.

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Доложите, товарищ Зубо.

— Дело номер второе, — зачитал комендант. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма. Год и место рождения: не установлено. Вероятно, Конго.

— Он что, немой, что ли? — благодушно осведомился Хлебовводов.

— Говорить не умеет, — ответил комендант. — Только квакает.

— От рождения такой?

— Надо полагать, да.

— Наследственность, стало быть, плохая, — проворчал Хлебовводов. — Оттого он и в бандиты подался. Судимостей много?

— У кого? — спросил ошарашенный комендант. — У меня?

— Да нет, почему — у тебя? У этого... У бандита. Как его там по кличке? Васька?

— Протестую, — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом.

— А! — сказал Хлебовводов разочарованно. — Собака какая-нибудь. А я думал — бандит. Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир...

— Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это нарушение регламента! Так мы до ночи не кончим!

Хлебовводов поглядел на часы.

— И верно, — сказал он. — Извиняюсь. Валяйте, браток, где ты там остановился?

— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: птеродактиль.

Все содрогнулись, но время поджимало, и никто не сказал ни слова.

— Образование: прочерк, — продолжал читать комендант. — Знание иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в настоящее время: прочерк. Были ли за границей: вероятно, да...

— Ох, это плохо, — пробормотал Хлебовводов. — Плохо это! Ох, бдительность... Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Черный?

— Он, как бы это сказать, сероватый такой, — объяснил комендант.

— Ага, — сказал Хлебовводов. — И говорить не может, только квакает... Ну, ладно, дальше.

— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад.

— Сколько? — переспросил Фарфуркис.

— Пятьдесят миллионов тут написано, — несмело сказал комендант.

— Несерьезно все это как-то, — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. — Да читайте же, — простонал он. — Дальше читайте!

— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. Адрес постоянного местожительства: Китежград, Колония необъясненных явлений.

— Прописан? — строго спросил Хлебовводов.

— Да вроде как бы прописан, — ответил комендант. — Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Можно сказать, прижился Кузьма. — В голосе коменданта послышались нежные нотки: Кузьке он явно покровительствовал.

— У вас все? — осведомился Лавр Федотович. — Тогда есть предложение вызвать дело.

Других предложений не было, комендант отдернул штору на окне и ласково позвал:

— Кузь-Кузь-Кузь-Кузь... Вон, сидит на трубе, паршивец, — произнес он нежно. — Стесняется... Стеснительный он очень. Ку-у-узь! Кузь-Кузь-Кузь... Летит, жулик, — сообщил он, отступая от окна.

Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща рас-

пахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.

— Это он здоровается, — пояснил комендант. — Ве-еж-ли-вый, сукин кот, все как есть понимает.

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебовводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая...»

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо.

— Как можно! — сказал комендант. — Смирное животное, все его гоняют, кому не лень... Конечно, если рассердится... Только он никогда не сердится.

Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузьма слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях.

— Гррրм! — удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль.

Обстановка складывалась благополучно.

— Я думал, это лошадь какая-нибудь, — бормотал Хлебовводов, ползая под столом.

— Разрешите мне, Лавр Федотович, — попросил Фарфуркис. — Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебаний первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари Брийон неизменно приводила в восхищение всех собравшихся на рауты у барона де Водрейля, какового факта он, научный консультант, не может не признать; что необъясненность... эта... данного ля птеродактиль Кузьма лежит, значит, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке, в лице его, научного консультанта, истина дороже; что крылатость крокодилов или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев до сих пор наукой не объяснены, а потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой.

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отрабатывая свой многосотенный оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Кузька мне очень понравился и мне было ясно одно: если мы сейчас не вмешаемся, Кузьке будет плохо.

— Гррրм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут вопросы к докладчику?

— У меня вопросов нет, — заявил Хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. — Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводит тут нам тень на плетень... И потом, я замечаю, что комендант развел у себя в Колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что у него там семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а возятся с ним, как с писаной торбой. Гнать его нужно из Колонии, пусть работать идет...

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму.

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить... или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал... и крылатых, и всяких...

— Как же так? — страдал комендант. — Он же все-таки не человек, он же все-таки животное. У него диета...

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет! Диета у него... У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу... — Однако Хлебовводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот: — Постойте, постойте! — заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?... Ну, да, тот самый и есть! Это что же — и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты?

— Были, — сказал комендант с горячностью.

— Какие именно?

— Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть.

Хлебовводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебовводов опять пытается навязать Тройке несвойственные ей функции. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.

— Эдик! — прошептал я умоляюще.

Эдик, внимательно следивший за развитием событий, взял реморализатор навскидку и прицелился в Лавра Федотовича. Лавр Федотович поднялся и забрал себе слово.

Он рассказал о задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Он предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы Тройки в связи с изменившимися условиями?

Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Хлебовводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что час обеденного перерыва давно наступил.

— Есть такое мнение, — заключил Лавр Федотович, — что пора перейти к отдыху и обеду. Заседание Тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль... — Затем он в высшей степени благодушно обратился к коменданту. — А крокодила вашего, товарищ Зубо, мы возьмем и отдадим в зоопарк. Как вы полагаете?

— Эх! — сказал героический комендант. — Лавр Федотович! Товарищ Вунюков! Христом богом... спасителем нашим... нет же у нас в городе зоологического сада!

— Будет! — пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил: — Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит.

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность.

Лавр Федотович погрузил в портфель свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебовводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.

— Бифштекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федотович.

— С кровью! — преданно закричал Хлебовводов.

— Ну, зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.

Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович... Бифштекс без крови, Лавр Федотович, это хуже чем выпить и не закусить...» «Наука полагает, что... эта... с лучком, значит...» «Народ любит хорошее мясо... например, бифштексы...»

— В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских...

ДЕЛО № 15 И ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло, отравились за обедом грибами, и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович и профессор Выбегалло, выступая против товарища Хлебовводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо общественностью и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под пильзенское бархатное по четыре экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра во всяком случае на людях появиться не смогут.

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель.

Мы попрощались с ним, купили по стаканчику мороженого и возвратились к себе в гостиницу. Весь вечер мы просидели в номере, обсуждая свое положение. Эдик признался, что Кристобаль Хозевич был прав: Тройка оказалась более крепким орешком, нежели он предполагал. Разумная, рациональная сторона ее психики оказалась сверхъестественно консервативной и сверхупругой. Правда, она поддавалась воздействию мощного реморализующего поля, но немедленно возвращалась в исходное состояние, как только поле выключалось. Я было предложил Эдику не выключать поле вовсе, но Эдик это предложение отверг. Запасы разумного, доброго и вечного были у Тройки весьма ограничены, и сколько-нибудь длительное воздействие реморализатора грозило истощить их до последней капли. Наше дело — научить их думать, сказал Эдик, а не помогать им думать; но они не учатся. Эти бывшие канализаторы разучились учиться. Впрочем, не все еще потеряно. Осталась еще эмоциональная сторона психики, область чувств. Раз не удается разбудить в них разум, надо попытаться разбудить их совесть. И именно этим он, Эдик, и намерен заняться на следующем же заседании.

Мы обсуждали этот вопрос до тех пор, пока к нам не ввалился без стука возбужденный Клоп Говорун. Оказывается: он подал заявление, чтобы Тройка приняла его без всякой очереди и обсудила одно его предложение. Только что он получил через коменданта извещение и теперь вот заглянул узнать, будем ли мы присутствовать на завтрашнем утреннем заседании, которое обещает стать историческим. Завтра мы все поймем. Завтра мы узнаем, что он такое. Когда благодарное человечество станет носить его на руках, он нас не забудет. Он кричал, размахивал лапками, бегал по стенам и мешал Эдику сосредоточиться. Мне пришлось взять его за шиворот и вывести в коридор. Он не обиделся, он был выше этого. Завтра все разъяснится, пообещал он, спросил номер аппартаментов Хлебовводова и удалился. Я лег спать, а Эдик, расстелив на столе лист бумаги, еще долго сидел над разобранным реморализатором.

Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он препирается в приемной с комендантом, требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а то будет плохо.

— Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипятился Говорун. — Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей... Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову!

— О ком ты говоришь? — спросил я, опешив.

— Как это о ком? Об этом, вашем... кто там у вас главный? Вунюков?

— Балда! — прошипел я. — Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В твоем распоряжении тридцать секунд!

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет нарушения всех и всяческих правил, он вошел в комнату заседаний и нахально, ни с кем не поздоровавшись, развалился на демонстрационном столе. Лавр Федотович с мутными и пожелтевшими, после вчерашнего, глазами тотчас же взял бинокль и стал Клопа рассматривать. Хлебовводов, страдая от тухлой отрыжки, проныл:

— Ну чего нам с ним говорить? Ведь все уже говорено... Он же нам только голову морочит...

— Минуточку, — сказал Фарфуркис, бодрый и розо-

вый, как всегда. — Гражданин Говорун, — обратился он к Клопу. — Тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете нам заявить? Мы вас слушаем.

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил:

— История человеческого племени, — начал он, — хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордано Бруно. Оголтелые фанатики травили Чарлза Дарвина, Галилео Галилея. История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете окончил свои дни Имперутор, создатель теории группы крови; Рексофоб, решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могло не наложить и действительно наложило свой роковой отпечаток на взаимоотношения между ними. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом: «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить». — Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает чловечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который быть может вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идти на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов и миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние желудочной прострации, в котором пребывала большая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима Выбегаллы. Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел, Фарфуркис не знал, на что решиться, и с беспокойством на него поглядывал, и я уже подумал, что все обошлось, как вдруг Хлебовводов произнес:

— «Пили, пьем и будем пить»... Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — Он дико огляделся. — Да я же его сейчас к ногтю!... Ночью от них спасу нет, а теперь и днем! Мучители! — И он принялся яростно чесаться.

Говорун несколько испугался, однако продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка.

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебовводов, вскочил и ринулся вперед. Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку — тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебовводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы.

— Грры, — как-то жалобно проговорил Лавр Федотович. — Кто еще просит слова?

— Позвольте мне, — сказал Фарфуркис, и я понял, что машина заработала. — Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особенное впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества как историю страданий отдельных выдающихся личностей. Я готов также оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания о собственной особе. Но его предложение, его идея о союзе... Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его, как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью убедился, что там отсутствует совершенно, на мой взгляд, необходимое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть с праздношатающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим средства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно квалифицировать как преступные...

В эту минуту на пороге вновь появился измученный Хлебовводов. Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотал: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..» Говорун только втянул голову в плечи. Он понял, наконец, что его дело плохо. «Саша, — шептал мне Эдик в панике. — Саша, придумай что-нибудь... У меня здесь закоротило...» Я лихорадочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал:

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которому за решеткой, — не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по этому делу, однако, как человек по натуре не злой, хотя и принципиальный, я позволю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не натягивайте струны слишком туго!

— Задавить его, паразита! — прохрипел Хлебовво-

дов. — Вот я его сейчас спичкой... — Он стал хлопать себя по карманам.

На Говоруне лица не было. На Эдике тоже. Он судорожно копался в реморализаторе. А я все никак не мог найти выхода из возникшего тупика.

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — брезгливо морщась, проговорил Фарфуркис. — Я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции...

При этих словах дурак Говорун просиял. О, тщеславие!..

— Далее, — продолжал Фарфуркис, — нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизаций подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составим акт таким примерно образом: акт о списании клопа говорящего, именуемого ниже Говоруном...

— Правильно! — прохрипел Хлебовводов. — Печатью его!

— Это произвол! — слабо пискнул Говорун.

— Позвольте! — вскинулся Фарфуркис. — Что значит — произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится...

— Все равно произвол! — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы!..

И тут меня, наконец, осенило.

— Позвольте, — сказал я. — Лавр Федотович! Вмешайтесь, я прошу вас! Это же разбазаривание кадров!

— Гррм, — еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, что ему было все равно.

— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович совершенно прав! Надо меньше придавать значение форме и пристальнее вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион для благородных девиц? Или курсы повышения квалификации?.. Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобностью? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, быть может, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа...» А вы, товарищ Хлебовводов? Да, я вижу, вы — сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц...

— Вот я и говорю, — сказал Хлебовводов. — Задавить его без разговоров... А то акты какие-то...

— Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо административные вместо методов административно научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доморощенный клопиный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш, современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать.

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Говорун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается Тройки, то пораженная моим красноречием, она безмолвствовала. Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что он считает мою идею гениальной и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыханном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения, уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой государственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватит также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку...

— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар...— проворчал консервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом и цеплялся к частностям.

Я выразительно пожал плечами.

— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями, — возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на пол-корпуса вперед.

— Ничего не узкоместными, — возразил Хлебовводов. — Очень даже широкими... этими... как их... Воняют же! Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться... на стрикулиста... Несерьезный он какой-то... и заслуг за ним никаких не видно....

— Есть предложение, — сказал Эдик. —Может быть, создать подкомиссию для изучения этого вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом. Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объективного.

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал трещину, бастион несколько покосился, но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный.

— Народ... — произнес бастион, болезненно заводя глаза. — Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор. Народу нужны поля и реки. Народу нужен ветер и солнце...

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастион снизу вверх.

— И луна, — подтвердил Лавр Федотович. — Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе. Народу душно без открытого воздуха...

Мы еще ничего не понимали, даже Хлебовводов еще терялся в догадках, но проницательный Фарфуркис уже собрал бумаги, упаковал записную книжку и что-то

шептал коменданту. Комендант кивнул и почтительно деловито осведомился:

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине?

— Народ, — провозгласил Лавр Федотович, — предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо, обеспечьте. — С этими словами Лавр Федотович грузно опустился в кресло.

Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину, Хлебовводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за ногу и выбросил его вон. Говорун не сопротивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи.

Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на переднее сидение. Хлебовводов, Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сидение. «А машина-то пятиместная, — озабоченно сказал Эдик. — Нас не возьмут». Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого, я наболтался сегодня на месяц вперед. Безнадёга все это. Нам с ними вовек не справиться. Спасли дурака Клопа, и ладно, и пошли купаться. Однако Эдик сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет еще один сеанс — под открытым небом. В конце концов, это, может быть, даже и лучше...

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое, и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. «Затруднение? — осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом. — Товарищ Фарфуркис, устраните». Ободренный Фарфуркис с азартом принялся устранять. И не успел я глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве ВРИО научного консультанта, шофер был отпущен, а я сидел на его месте. «Давай, давай, — шептал мне на ухо невидимый Эдик. — Ты мне еще, может быть, поможешь...» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело — сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение.

— Ехать бы... — умирал Хлебовводов. — С ветерком бы...

— Грррм — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Другие предложения есть?.. Шофер, поезжайте.

Я завел двигатель и стал осторожно разворачиваться, пробираясь сквозь толпу ребятишек.

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он советовал мне остановиться — там, где остановка была запрещена; то он советовал мне не гнать и напоминал мне о ценности жизни Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично овевает чело Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет Тройки... Однако, когда мы миновали белые Тьмускорпионские Черемушки и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышке, всем было хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцоговину-Флор», Хлебовводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню, комендант подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту Тьмускорпиони с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда негодным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант: озеро—болото—холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра; на болоте — рационализировать и утилизировать имеющее там место гуканье; а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место. Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он вообще всегда был высокого мнения о моих способностях. Ему будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную, талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы, а ведь если она, наша чудесная талантливая молодежь и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы стать настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...

Плезиозавра мы увидели еще издали — нечто похожее на ручку от зонтика торчало из воды в двух километрах от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебовводова и сообщил, что в озере — вода, что заседание выездной сессии Тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо.

Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее, Фарфуркис расстегнулся, а я вовсе снял рубашку, чтобы не терять случая подзагореть. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, никто его не слушал, Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собою, словно бы прикидывая, нужно ли оно народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени театра Музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели овсы, на дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным.

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводов сделал ценное замечание, что ящур — опасная болезнь скота, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебовводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете, — говорил он. — Я человек начитанный, хотя и без

высшего образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет», — сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки. «Ничего, разберемся», — возразил Хлебовводов. — Все равно же полагается его вызывать, так хоть польза какая-то будет».

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: «Лизка! Лизка!» Но поскольку плезиозавр, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. «Спит, — с отчаянием сказал комендант. — Окуней наглоталась и спит...» Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, что нечего аккумуляторы подсаживать — дело казалось мне безнадежным.

— Товарищ Зубо, — не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович. — Почему вызванный не реагирует?

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать.

— Хромает у вас в хозяйстве дисциплина, — подал голос Хлебовводов. — Подраспустили подчиненных.

Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот.

— Ситуация чревата подрывом авторитета, — сокрушенно заметил Фарфуркис. — Спать нужно ночью, а днем нужно работать.

Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. «Ничего, — кровожадно сказал Хлебовводов. — На дутом авторитете выплывет». Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. Комендант, несомненно, утонет, сказал я, и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасания на водах. Кроме того, напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову. Фарфуркис возразил, что вызов дела является функцией и прерогативой представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функцией научного консультанта, так что мои слова рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил, что в данном случае я являюсь не столько научным консультантом, сколько водителем казенного автомобиля, от которого не имею права удаляться далее, чем на двадцать шагов. «Вам следовало бы знать приложение к Правилам движения по улицам и дорогам, — сказал я укоризненно, ничем не рискуя. — Параграф двадцать первый». Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного корабля, поворачивается голова Лавра Федотовича. Все мы были на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа.

— Господом нашим... — не выдержал комендант, стоя на коленях в одном белье — Спасителем Иисусом Христом... Не боюсь я плыть, и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то... Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку! Спросонья-то...

— В конце концов, — несколько нервничая, произнес Фарфуркис, — зачем ее звать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать...

— Списать ее, заразу! — радостно подхватил Хлебовводов. — Корову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне, сенсация! Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся... пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!

Лавр Федотович наконец развернул главный калибр. Однако вместо орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет Тройки пауков в банке, он обнаружил перед собой в поле зрения прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и деловитости сотрудников, горящих единым стремлением: списать заразу Лизку и перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в противоположном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика.

— Народ... — донеслось из боевой рубки. — Народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу...

— Не нужны! — выпалил Хлебовводов из малого калибра и промазал.

Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены Тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было, вопросов к докладчику — тем более. На том и порешили.

— Перейдем к следующему вопросу, — объявил Лавр Федотович, и действительно, члены Тройки, толкаясь, устремились к заднему сидению. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню... Лучшие же куски давал... Как дочь родную... Скотина водоплавающая...»

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам и конец. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого дряблого Фарфуркиса проку будет мало. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но мне неизвестно было оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр Федотович вряд ли даже вылезет из машины. Так что действовать в случае чего придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи девятисоткилограммовую машину.

Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная буколическая лужа типа миргородской, всеми изъезженная и ко всему притерпевшаяся. Это не была также мутная глинистая урбаническая лужа, лениво и злорадно развалившаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, зловещее в своем спокойствии мрачное образование, небрежно втиснувшееся между двумя рядами хилой осиновой поросли, загадочное, как глаз сфинкса, коварное, как царица Тамара, наводящее на кошмарную мысль о бездне, набитой затонувшими гру-

зовиками. Я резко затормозил и сказал:

— Все, приехали.

— Гррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, доложите дело.

В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.

— Дело номер тридцать восьмое, — прочитал он. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Название: Коровье Вязло.

— Минуточку! — прервал его Фарфуркис встревоженно. — Слушайте!

Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары топкой грязи, поросшие редкой осокой, покрытие слежавшимися слоями прелых листьев, с торчащими гнилыми сучьями, и все это под сенью болезненно тощих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре — отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся, самоотверженных.

— Лавр Федотович! — пролепетал Хлебовводов. — Комары!

— Есть предложение! — нервно закричал Фарфуркис. — Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!

— Гррм, — произнес Лавр Федотович с удивлением. — Общественности не ясно...

Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не примериваясь, вонзил в него шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил. И началось.

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сидения доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания уланов и лейб-гусаров предавалась взаимооскорблению действием. К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки — в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед! — кричали на меня со всех сторон.—Назад! Газу! Да подтолкните же его! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели во всех стороны, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала, а навстречу нам с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться. Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением, я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что Тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта, ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно называться комендантом, как таковым: две три обглоданных кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание: «Господом богом... Иисусом, Спасителем нашим...»

— Товарищ Зубо, — произнес, наконец, Лавр Федотович. — Почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать.

Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки.

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, — приказал Лавр Федотович.

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел:

— Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки.

— Ну? — сказал Хлебовводов. — Дальше что?

— Дальше ничего. Все.

— Как так — все? — плачуще взвыл Хлебовводов. — Убили меня! Зарезали! И для ради чего? Звуки ахающие... Ты зачем нас сюда привез, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привез? За что же мы кровь проливали? Ты посмотри на меня — как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвал! Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!

— Гррм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал.

— Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду представления собой делом номер тридцать восемь под названием «Коровье Вязло» исключительной опасности для народа, подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно — реально не существующим и, как таковое, исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт.

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сидения свой гигантский портфель и положил его плашмя к себе на колени.

— Акт! — воззвал он.

На портфель лег акт о высшей мере.

— Подписи!!

На акт пали подписи.

— Печать!!!

Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сидение и продолжал:

— Коменданту колонии товарищу Зубо за безответственность содержания в Колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно — реально не существующего болота «Коровье Вязло», за необеспечение безопасности работы Тройки, а также за проявленный при этом героизм объявить благодарность с занесением. Есть еще предложения?

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?

— Заколдованное место, — сказал воспрянувший комендант. — Недалеко отсюда, километров пять.

— Комары? — осведомился Лавр Федотович.

— Христом богом... — истово сказал комендант, —

спасителем нашим... Нету их там. Муравьи разве что...

— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы? Пчелы? — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.

— Ни боже мой, — сказал комендант.

Лавр Федотович долго молчал.

— Бешеные быки? — спросил он, наконец.

Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.

— А волки? — спросил Хлебовводов подозрительно.

Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте была Тьмускорпионь, была река Скорпионка, было озеро Звериное, были какие-то Лопухи, болота же «Коровье Вязло», которое распространялось раньше между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старых картах на месте Антарктики. Мне было дано указание продолжать движение, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным.

Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка; по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.

— Что же вы остановились? — спросил меня Фарфуркис. — Надо же подъехать, не пешком же нам...

— И молоко у них, по всему видать, есть... — добавил Хлебовводов. — Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. Ехай, ехай, чего стали!

Комендант попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения его были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С погреба!» что он не стал спорить. Честно говоря, я его тоже не понял, но мне стало любопытно.

Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей траве, Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сидение в предвкушении молока и сметаны затеяло спор — чем на болотах питаются комары. Хлебовводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебовводов спохватился.

— Что же это получается? — сказал он. — Едем-едем, а холм где стоял, там и стоит... Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, браток?

— Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти... Только бензин весь даром сожжем.

После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще семь километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сидении нарастало возмущение. Хлебовводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство», — говорил Хлебовводов. «Саботаж, — возражал Фарфуркис. — Но злостный». Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только: «...На колодках... ну да, колеса крутятся, а машина стоит. Комендант?.. Может быть, и ВРИО консультанта... бензин... подрыв экономики... потом машину спишут с большим пробегом, а она новенькая...» Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца, и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил нажал на тормоз. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара, и металлические зубы Фарфуркиса лязгнули над моим ухом. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями.

— Затруднение? — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ Хлебовводов, устраните.

Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебовводовым, который лежал метрах в тридцати позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре: будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили его так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди.

Недоразумение было полностью устранено, возражения Хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к своим прямым обязанностям.

— Товарищ Зубо, — произнес он. — Доложите дело.

У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была — холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать—сыра земля, адрес же постоянного местожительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалло, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко: «Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти».

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебовводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался очевидной необъясненностью, ничем не угрожающей народу, и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки.

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он

потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце, махнул клюкой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.

— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свидетеля?

— Так что же — свидетель... — упавшим голосом сказал комендант. — Разве чего неясно? Ежели вопросы есть, то я могу...

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вот где живете, а он— здешний.

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов. — Пусть молока принесет.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять.

— Эх! — воскликнул комендант, ударивши соломенной шляпой об землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался...

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами Тройки, предчувствуя новые неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, молодой тогда еще совсем был, здоровенный; как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила; вернулась — не может взойти на холм, до дому добраться. И Феофил к ней рвался. Двое суток к ней с холма без передышки бежал — нет, не добежать. Так он там и остался. Он там, жена здесь... Потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так до сих пор и живет. Ничего, привык...

Выслушав эту страшную историю и задав несколько каверзных вопросов, Хлебовводов вдруг сделал открытие: переписи Феофил избежал, воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом.

— Две коровы у него, — говорил Хлебовводов, — и теленок вот. Коза. А налогов не платит... — Глаза его вдруг расширились. — Раз теленок есть, значит и бык у него где-то там спрятан!

— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, верно, на той стороне пасется...

— Ну, браток, и порядочки у тебя, — зловеще сказал Хлебовводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты — подкулачник, чтобы ты кулака покрывал, мироеда...

Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл:

— Святой девой Марией... Двенадцатью первоапостолами...

— Внимание! — прошептал невидимый Эдик.

Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязная коза следовала за ним, как собачонка. Феофил подошел к нам, сел, задумчиво подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бесовскими глазами.

— Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно...

Коза обвела нас взглядом и выбрала Хлебовводова.

— Это вот Хлебовводов, — сказала она. — Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из великосветского романа, по образованию — школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного...

— Йес, — подтвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая. — Натюрлихяволь!

— ...профессии как таковой не имеет. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.

— Так, — сказал Феофил. — Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?

— Никак нет! — весело сказал Хлебовводов. — Разве что вот... орто... доро... орто-ксальный... не совсем ясно!

— Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?

— Так точно, — сказал Хлебовводов. — Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди — промахнешься.

— Крал? — небрежно спросил Феофил.

— Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало.

— Убивал?

— Ну что вы! — засмеялась коза. — Лично — никогда.

— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов. — Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест... то-есть, не работает...

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов.

— Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса.

— А этот приятный мужчина?

— Это Фарфуркис, — сказала коза. — По имени и отчеству никогда и никем не был называем. Родился в девятьсот шестнадцатом в Таганроге, образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии — лектор. Имеет степень кандидата исторических наук. За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии...

— Это не совсем так,—мягко возразил Фарфуркис.— Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера безотносительно к начальству, я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридические рамки их компетенции.

— А если они выходят за эти рамки? — спросил Феофил.

— Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать, но их нельзя перейти.

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. — Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда, — сказала коза. — Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь? — сказал Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами. Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или просто невежественны. Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах. Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы. Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. Таким образом оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории... Существует Большая Правда и антипод ее, Большая Ложь. Большая Правда так велика и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую.

— Тонко, — сказал Феофил. — Очень тонко. Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта?

— Нет, — сказала коза, усмехаясь. — То есть, философия останется, но Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация, как образец работ такого рода.

Феофил задумался.

— Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено и мы можем продолжать свои занятия?

— Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину...

— Как?! — вскричал пораженный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу?

— Общественность... — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль.

— Вопросы Лавру Федотовичу? — бормотал потрясенный Фарфуркис.

— Да, — подтвердила коза, — Вунюкову Лавру Федотовичу, год рождения...

— Все, — прошептал Эдик. — Энергии не хватает. Этот Лавр — как бездонная бочка...

— Да что же это такое! — возопил в отчаянии Фарфуркис.—Товарищи! Да куда это мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично же...

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Не наше это дело. Пускай милиция разбирается.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности и Министерства финансов. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Заколдун» передать в прокуратуру Тьмускорпионского района.

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке и из-под ладони озирал окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати.

ЭПИЛОГ

На другое утро, едва проснувшись, я тотчас почувствовал, как все горько и безнадежно. Эдик в одних трусах сидел за столом, подперев руками взлохмаченную голову, а перед ним, на листе газеты, поблескивали детали разобранного до винтика реморализатора. Сразу было видно, что Эдику тоже гадко и безнадежно.

Отшвырнув одеяло, я спустил ноги на пол, вытащил из кармана куртки сигарету и закурил. В других обстоятельствах этот нездоровый поступок вызвал бы немедленную и однозначную реакцию Эдика, не терпевшего расхлябанности и загрязненного воздуха. В других обстоятельствах я и сам бы не решился курить натощак при Эдике. Но сегодня нам было все равно. Мы были разгромлены, мы висели над пропастью.

Во-первых, мы не выспались. Это первое, как выразился бы Модест Матвеевич. До трех часов ночи мы угрюмо ворочались в постелях, подводя горькие итоги, открывали окна, закрывали окна, пили воду, а я даже кусал подушку.

Мало того, что мы оказались бессильны перед этими канализаторами. Это было бы еще ничего. В конце концов нас никто никогда не учил, как с ними обращаться. Были мы еще жидковаты, да и зеленоваты, пожалуй.

Мало того, что все надежды получить хотя бы наш Черный Ящик и нашего Говоруна развеялись в дым после вчерашней исторической беседы у подъезда гостиницы. В конце концов противник обладал таким мощным оружием, как Большая Круглая Печать, и нам нечего было ей противопоставить.

Но речь теперь шла о всей нашей дальнейшей судьбе.

Исторический разговор у подъезда происходил примерно так. Едва я подогнал запыленную машину к гостинице, как на крыльце возник из ничего непривычно суровый Эдик.

Эдик: Простите, Лавр Федотович. Не можете ли вы уделить мне несколько минут?

Лавр Федотович: (сопит, облизывает комариные волдыри на руке, ждет, пока ему откроют дверцу машины).

Хлебовводов (сварливо): Прием окончен.

Эдик (сдвигая брови): Я хотел бы выяснить, когда будут исполнены наши заявки.

Лавр Федотович (Фарфуркису): Пиво — это от слова «пить».

Хлебовводов (ревниво): Точно так! Общественность любит пиво.

Все (лезут из машины).

Комендант (Эдику): Да вы не волнуйтесь, в следующем же году рассмотрим ваши заявочки...

Эдик (внезапно осатанев): Я требую прекратить волокиту! (Встает в дверях, мешая пройти).

Лавр Федотович: Грррм... Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Эдик (зарываясь): Я требую немедленного удовлетворения наших заявок!

Я (уныло): Да брось ты, безнадюга ведь...

Комендант (испуганно): Христом-богом... Пресвятой богородицей Тьмускорпионской... Молю...

Безобразная сцена. Хлебовводов, вставши перед Эдиком, измеряет его взглядом с головы до ног. Эдик поспешно сбрасывает излишки ярости в виде маленьких шаровых молний. Вокруг собираются Любознательные. Возглас из раскрытого окна: «Дай ему! Чего смотришь? По луковке!» Фарфуркис что-то торопливо шепчет Лавру Федотовичу.

Лавр Федотович: Гррррм... Есть мнение, что нам надлежит продвигать нашу талантливую молодежь. Предлагается: товарища Привалова утвердить в должности шофера при Тройке, а товарища Амперяна назначить врио товарища заболевшего Выбегаллы с выплатой разницы в окладе. Товарищ Фарфуркис, подготовьте проект приказа. Копию — вниз. (Идет на Эдика).

Врожденная вежливость Эдика берет верх над всем прочим. Он уступает дорогу и даже открывает дверь перед пожилым человеком. Я ошеломлен, плохо вижу и плохо слышу.

Комендант (радостно пожимая мне руку): С повышением вас, товарищ Привалов! Вот все и уладилось...

Лавр Федотович (задержавшись в дверях): Товарищ Зубо!

Комендант: Слушаю!

Лавр Федотович (шугит): Была вам, товарищ Зубо, сегодня баня, так сходите вы теперь сегодня в баню!

Жуткий хохот удаляющейся Тройки. Занавес.

Вспомнив эту сцену, вспомнив, что отныне и надолго мне суждено быть шофером при Тройке, я раздавил окурок и прохрипел:

— Надо удирать.

— Нельзя, — сказал Эдик. — Позор.

— А оставаться — не позор?

— Позор, — согласился Эдик. — Но мы — разведчики. Нас никто пока не освобождал от наших обязанностей. Надо стерпеть нестерпимое. Надо, Саша! Надо умыться, одеться и идти на заседание.

Я застонал, но не нашел, что возразить.

Мы умылись, оделись, мы даже позавтракали. Мы вышли в город, где все люди были заняты полезным, нужным делом. Мы угрюмо молчали, мы были жалки.

У входа в колонию на меня вдруг напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Эдик выхватил рубль, но это не произвело обычного действия. Материальные блага старикашку более не интересовали, он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план такой работы, рассчитанный на время его, старикашки, учебы в аспирантуре.

Через пять минут беседы свет окончательно стал мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться и страшные намерения близились к осуществлению. В отчаянии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся машин. Старик слушал меня, раскрыв рот, и впитывал каждый звук — по-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Как опытный провокатор, я спросил, достаточно ли сложной машиной является агрегат Машкина? Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, сам не понимает, что там и к чему. «Прекрасно, — сказал я. — Известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и к самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам пока не нужно, а вот обучить агрегат Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки («Метод Монте-Карло», — вставил слегка оживший Эдик). Да, Монте-Карло. Преимущество этого метода — в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брэма. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать... («Думатель будет думать», — вставил Эдик) Да, именно думать... И таким образом, агрегат станет у нас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за Брэмом...».

Эдельвейс поскакал в библиотеку, а мы, несколько ободренные этой маленькой победой над местными стихиями, первой нашей победой на семьдесят шестом этаже, пошли своей дорогой, радуясь, что с Эдельвейсом теперь покончено навсегда, что настырный старик больше не будет теперь путаться под ногами и мучить меня своей глупостью, а будет мирно сидеть себе за «ремингтоном», колотить по клавишам и, высунув язык, срисовывать латинские буквы. Он будет долго колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Брэмом, то возьмем для разгона тридцать томов Чарлза Диккенса, а там, даст бог, примемся и за девяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями...

Когда мы вошли в комнату заседаний, комендант что-то читал вслух, а канализаторы вкупе с Выбегаллой слушали и кивали. Мы тихонько сели на свои места, взяли себя в руки и тоже стали слушать. Некоторое время мы ничего не понимали, да и не старались понять, но довольно скоро выяснилось, что Тройка занята сегодня разбором жалоб, заявлений и информационных сообщений от населения. Федя раньше рассказывал нам, что такое мероприятие проводится еженедельно.

На нашу долю выпало заслушать несколько писем.

Школьники села Вунюшино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника за то, что он снес в утиль ее ногу. Школьники просили разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы ученые объяснили научно, как это она портит урожаи и как превращает отличников в двоечников, и нельзя ли в ней переменить плюсы на минусы, чтобы она двоечников превращала бы в отличников.

Группа туристов наблюдала за Лопухами зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил дежурных и скрылся в лесах, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будут оплачены дорожные расходы.

Житель города Тьмускорпиони Заядлый П. П. жаловался на соседа, второй год снимавшего у него молоко при помощи специальной аппаратуры. Требовалось найти управу.

Другой житель Тьмускорпиони, гр. Краснодежко С. Т., выражал негодование по поводу того, что городской парк загажен разными чудовищами и погулять стало негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и безработного тунеядца зятя.

Сельский врач из села Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова 115-ти лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю согдийскую монету. Врач обращал внимание общественности на тот факт, что покойный Панцерманов в Средней Азии никогда не был и обнаруженной монеты никогда прежде не видел. На осталь-

ных сорока двух страницах письма высокоэрудированный эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. Прилагались графики, таблицы и фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину.

Мероприятие осуществлялось вдумчиво и без поспешности. По прочтении каждого письма наступала длинная пауза, заполненная глубокомысленными междометиями. Потом Лавр Федотович продувал «Герцеговину-Флор», обращал свой взор к Выбегалле и осведомлялся, какой проект ответа может доложить Тройке товарищ научный консультант. Выбегалло широко улыбался красными губами, обеими руками оглаживал бороду и, попросив разрешения не вставать, оглашал требуемый проект. Он не баловал корреспондентов Тройки разнообразием. Форма ответа применялась стандартная: «Уважаемый (ая, ые) гр. ...! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса для нее не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что «гр. Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов».

Но машина продолжала работать с удручающей монотонностью. Однообразно и гнусаво зудел комендант, сыто порыкивал Лавр Федотович, шлепал губами Выбегалло. Смертельная апатия овладевала мною. Я сознавал, что это — разложение, что я погружаюсь в зыбучую трясину духовной энтропии, но не хотелось больше бороться. «И ладно, — вяло думалось мне. — И пусть. И так люди живут. Все разумное действительно, все действительное разумно. А поскольку разумно, постольку и добро. А раз уж добро, то почти наверняка и вечно... И какая в сущности разница между Лавром Федотовичем и Федором Симеоновичем? Оба они бессмертны, оба они всемогущи. И чего ссорятся? Непонятно... Что, собственно, человеку нужно? Тайны какие-нибудь загадочные? Не нужны они мне. Знания? Зачем знания при таком окладе денежного содержания? У Лавра Федотовича даже и преимущества есть. Он и сам не думает, и другим не велит. Не допускает он переутомления своих сотрудников — добрый человек, внимательный... И карьеру под ним хорошо сделать, Фарфуркиса оттеснить, Хлебовводова — что они, в самом деле... Дураки ведь, только авторитет начальства подрывают. А авторитет надо поднимать. Раз господь начальству ума не дал, то надобно ему хотя бы авторитет обеспечить. Ты ему авторитет, а он тебе все остальное. Полезным, главное, стать, нужным... правой рукой или, в крайнем случае, левой...»

И я бы погиб, отравленный жуткими эманациями Большой Круглой Печати и банды канализаторов, и кончил бы жизнь свою в лучшем случае экспонатом нашего институтского вивария. И Эдик бы погиб. Он еще рыпался, он еще принимал позы, но все это была одна видимость, на самом же деле, как он мне позже признался, он в это время мечтал вытеснить Выбегаллу и получить для застройки участок в пригороде. Да, погибли бы мы. Стоптали бы нас, воспользовавшись нашим отчаянием и упадком духа. Но в какой-то из этих страшных моментов немой гром потряс вокруг нас вселенную. Мы очнулись. Дверь была распахнута. На пороге стояли Федор Симеонович и Кристобаль Хозевич.

Они были в неописуемом гневе. Они были ужасны. Там, куда падал их взор, дымились стены и плавились стекла. Вспыхнул и обвалился плакат про народ и сенсации. Дом дрожал и вибрировал, дыбом поднялся паркет, а стулья присели на ослабевших от ужаса ножках. Это невозможно было вынести, и Тройка этого не вынесла.

Хлебовводов и Фарфуркис, тыча друг в друга трепещущими дланями, хором возопили: «Это не я! Это все он!», обратились в желтый пар и рассеялись без следа.

Профессор Выбегалло пролепетал: «Мон дье», нырнул под свой столик и, извлекши оттуда обширный портфель, протянул его громовержцам со словами: «Эта... все материалы, значить, об этих прохвостах у меня здесь собраны, вот они, матерьялы-та!».

Комендант истово рванул на себе ворот и пал на колени.

Лавр же Федотович, ощутив вокруг себя некоторое неудобство, беспокойно заворочал шеей и поднялся, упираясь руками в зеленое сукно.

Федор Симеонович подошел к нам, обнял нас за плечи и прижал к своему обширному чреву. «Ну-ну, — прогудел он, когда мы, стукнувшись головами, припали к нему.— Н-ничего, м-молодцы... Т-ри дня все-таки продержались... Эт-здорово... Сквозь слезы, застилающие глаза, я увидел, как Кристобаль Хозевич, зловеще играя тростью, приблизился к Лавру Федотовичу и приказал ему сквозь зубы:

— Пшел вон.

Лавр Федотович медленно удивился.

— Общественность... — произнес он.

— Вон!!! — взревел Хунта.

Секунду они смотрели друг другу в глаза. Затем в лице Лавра Федотовича зашевелилось что-то человеческое — не то стыд, не то страх, не то злоба. Он неторопливо сложил в портфель свое председательское оборудование и проговорил:

— Есть предложение: ввиду особых обстоятельств прервать заседание Тройки на неопределенный срок.

— Навсегда, — сказал Кристобаль Хозевич, кладя трость поперек стола.

— Грррм... — проговорил Лавр Федотович с сомнением.

Он величественно обогнул стол, ни на кого не глядя, проследовал к двери и, прежде, чем удалиться, сообщил:

— Есть мнение, что мы еще встретимся в другое время и в другом месте.

— Вряд ли, — презрительно сказал Хунта, скусывая кончик сигары.

Но мы действительно встретились с Лавром Федотовичем совсем в другое время и в другом месте.

Это, впрочем, совсем другая история.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Елена ЖИЛКИНА.

●

Скучаю я
среди людей чванливых,
сугубо деловых,
болтливых,
преуспевающих
за счет других...
Мне жалко их.
Бегу
и рощей молодой спасаюсь,
дышу во всю
весеннею травой,
как будто бы
на свет я выбираюсь
со стороны издревне теневой.

А люди те
мне не простят молчанья.
«Чем занята!» —
Ответ мой прост и тих:
ведь я до боли в сердце,
до отчаянья
все думаю о них.

Я возвращаюсь
к верности твоей,
как мореход,
что через много дней
выходит на берег...

Как долго
здесь он не был!
Отныне любит землю он
сильней,
ее одну,
под этим прежним небом.
Но снова бури —
мне навстречу.
И потом,
все думаю о береге,
о том...
Не шлю сигналов бедствия.
Молчу.
Я припадаю к твоему плечу.

Вил. ОЗОЛИН.

НЕОТЛОЖНОЕ

На телеграфном бланке,
на обороте,
я стихи написал —
они не терпели отсрочки.
Облегченно вздохнув,
я их никуда не послал.
Ни один журнал
о любви
не печатал
ни строчки!

СПОРЫ

Эти споры
словно горы —
на вершине снег и лед.

Надоели разговоры
эти
ночи напролет!
В них какое-то уродство:
в изобильи — пустота,
в неправдоподобье — сходство,
в многословье — немота.

И над всем над этим гамом,
дымом, аж — невпроворот,
здравый смысл — вверх ногами,
головой — наоборот!

Спорят сидя, лежа, стоя!
Спорят — лишь бы «вопреки».
Надоело! Мало стоит
театральный жест руки!

Слово в слово мне знакомо
все, что скажут наперед...
Лучше я пойду из дома,
пусть их леший разберет!

И меня к реке потянет.
Там, на барже, — старикан.
Он язя на стол достанет,
я — бутылку и стакан.

Мы друг другу слов не скажем...
И, когда я буду пьян,
мне покажется, что баржа,
тихо скрипнув, уплывает
в мой заснеженный,
буранный,
ледовитый,
окаянный,
молчаливый Океан!

Роман СОЛНЦЕВ.

ЯМБЫ

Памяти поэта Евгения
Абрамовича Баратынского.

1

Мне двадцать шесть. Рыжеет волос.
И сух мой голос в телефон.
Подходит лермонтовский возраст.
Торопит он. Торопит он.

Бродить лужком, шуршащей рощей
с обычною тетрадкой общей,
и начинать слагать, писать
свою, не общую тетрадь...

Журчит река, горит звезда,
летит светла вода с весла...

В реке времен валун янтарный —
моя наука и судьба —
смолистый домик, медный, старый,
моя сосновая изба.

Вокруг избы черны леса.
Ночами — волчьи в них глаза!

Смотрю я пристально, подробно,
живу я медленно и ровно
средь пахнущих сметаной муз...
А где-то ноют телефоны,
кричат печально эшелоны.
Мне некогда! Я тороплюсь.
Сломлю травинку — наклонюсь.

2

На вырубки уйду. Там тихо.
Горячий смоляной настой.
Как патефонная пластинка
пень кружится под злой осой.

Уйду в дурманящий орешник,
и допоздна мне мил мой лес...
Повисла туча, как скворечник —
на ней звезда, а не скворец.

Уже темно, и куст малины
мне пальцы греет, как фонарь.
И здесь рождаются былины.
И здесь бессмыслен календарь.

Здесь можно без любимой шляться,
и видеть лес, и трогать лес,
и вовсе не мечтать о счастье.
Не в этом счастье, наконец!

3

И вдруг письмо, напоминанье,
тревога не на полчаса,
что есть не в море-океане,
а на земле есть паруса.

Не те, что связано и порознь
в край тигров, пышных роз, вина
суда тащили, ветром полнясь,
звезд южных помня письмена.

А те, радары, в ночь и утро,
что окружили города,
но тоже паруса как будто —
вращающиеся всегда.

И потому всегда неясно,
куда же ветер бьет крылом.
И потому за землю страшно —
куда же все мы заплывем...

4

Неужто, древо, ты не вечно?
Неужто смертна даже ты,
моя — пожизненно — невеста
средь маятников маяты?
Расчеты помогают редко.
Возьми хоть в школе у ребят,
проверь тетрадки — в синих клетках
не тигры — цифры бродят, спят.

Не надо! Что же, что же делать?
Мгновенье, стой! — вскричал поэт
но не забыл он ровно в девять
пойти на герцогский банкет...

Неужто даже ты исчезнешь,
уйдешь с ладошкой под щекой,
любившая Рембо и теннис,
и заполночь трамвай пустой?

Нет, если так, то слез не пряча
и видя то, что смертна ты,
хотя бы на секунду раньше
уйду я в зону темноты...

5

Не знаю истин непреложных,
в которых нам не проложить
путей своих, пусть осторожных,
коль нужно осторожно жить.

Не знаю, также лжи безвредной,
что помогает на земле —
нас возвышающий и светлый
обман, как объяснили мне.

Я ничего еще не знаю,
хоть изучал и то, и то,
Я просто в дождь сейчас шагаю
в сыром, серебряном пальто...

6

Сегодня утро — точно пряник,
что в детстве мне привез отец,
...Тулуп внесли. Ушами прядал
военный мокрый жеребец.

И пар валил. Смеялась мама.
Оторвалась медаль. Пустяк!
Закрыли дверь. Блеснуло масло
на теплых, на ржаных ломтях...

Сегодня освещенный снегом
я вышел в курточке одной.
Побрел под непокрытым небом
я с непокрытой головой.

И думал я про ток катодный,
про лазер — огненную нить.
Я думал о войне, с которой
не стоит пряники возить...

7

И солнце стелет вам газеты
оранжевые на полу!
Их, ползая, читают дети.
Их вам не спрятать под полу.

А за окном уже — движенье,
У лавки топоток толпы,
машин на площади круженье
и медленный салют травы!

И этот день — он хлеб и соска,
чертеж и сдвинутый валун...
Он стар, как брошенное солнце!
И юн,
как сто пятнадцать лун!

1963 — 1967 гг.

Илья ФОНЯКОВ

●

А за окошком снег пухов —
Ярчайшей белизны.
Я не люблю твоих стихов,
Но мы с тобой — дружны.

Мы настоящие друзья,
Давно и неспроста.
Мне крепко нравится твоя
Открытость, прямота.

И что за ближнего — горой:
Не струсишь, не предашь.
И то, что мелочи дурной
Значенья не придашь.

Ну, а стихи... В конце концов,
Тревогами повит,
Не из одних стихов да слов
Свет белый состоит.

●

Смолкли нежные гитары,
Зрелость сердце холодит.
Что с тобой,
приятель старый,
Щеголь,
спорщик,
эрудит!
Еле пряча раздраженье,
Ходишь, мрачный и большой..

Был ты центром притяженья,
Был в компаниях душой,
Приглашаем был особо,
Чуть капризным быть привык...

Был ты для эпохи — проба,
Опыт, некий черновик,
Кандидат на роль героя...
Год прошел и снова год.
В скверном будучи настрое,
Бог сказал: «Не то! Не тот!
Перейдем к другой модели,
Раз уж с этой не смогли,

Поиск важен в каждом деле,
Так-то, ангелы мои!
Спишем! Пусть живет, как может!
Нам сырья не занимать!..»

Знаю, что тебя тревожит.
Мне ль тебя не понимать!
Нелегка тебе дорога,
Неуютен белый свет.

Нет виновных. Даже бога
Я придумал: бога — нет.
Сядем рядом на диване.
Потолкуем про житье,
Инфантильное созданье,
Эрудитятко мое...

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

СИБИРЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ

В Восточно-Сибирском книжном издательстве вышла книжка Василия Трушкина «Литературная Сибирь первых лет Революции». Это исследование получило широкий резонанс в литературоведческих кругах; издательство и сам автор получают много отзывов на книжку. Один из них — письмо Михаила Скуратова, бывшего сибиряка, поэта — и печатаем мы сегодня. Это письмо нам кажется интересным не только как рецензия, оно привлекает и теми воспоминаниями, которые содержатся в нем.

...Я в восторге от Вашей книги «Литературная Сибирь первых лет революции»... Судьбы родной сибирской литературы мне ближе всего и всегда кровно дороги. А Вы здесь, в этой области, проявили редкостное вооружевление, это своего рода Ваша «поднятая целина». Большой размах, большое полотно, целая картина развития сибирской литературы, как могучей протоки общерусской, за добрых полвека! И какой охват от Урала до Тихого океана! Тут и Омск и Томск, и Барнаул и Новониколаевск (ныне Новосибирск), и Красноярск и Иркутск, Чита и Владивосток. И все это емко, содержательно, весомо.

Столько открытий лично для меня! А я, однако, не считаю себя несведущим в сибирской литературе; сам «рылся» во многих источниках, относящихся к ней, можно сказать, еще с «первобытных» времен ее существования. Вы своими исследованиями поставили прекрасный памятник сибирским писателям — живым и мертвым. И думается, для будущих добытчиков сведений о сибирской литературе, особенно о ее поэзии, Ваша книга будет незаменимым подспорьем и настольным пособием...

Вы нелицеприятно разобрались в достоинствах и грехопадениях таких поэтов, как Георгий Вяткин, многих представителей иркутской «Барки поэтов» — Ельпидифора Титова и др. И очень здорово у Вас получилось о Дине Стож и ее супруге М. Е. Стож, издававшем в Иркутске свои пресловутые путеводители по Сибири и справочники о ней; досталось им на орехи от Вас, всыпали Вы им по пятое число! И поделом... А знаете ли, что я, в своем отрочестве, по наивности, по незнанию, ходил на поклон к этому М. Е. Стожу, видел в нем литературного оракула; я видел его, разговаривал с ним, приносил к нему на квартиру вблизи бывшей Почтовой улицы свои стихи, помню его: этакий плотный, крупный был дядя, с коротко остриженной на европейский манер рыжеватой бородкой; сдается, он был обрусевший латыш, судя по фамилии и по облику, а вот его Дину Стож не знавал лично. Книжонки — путеводители и справочники — этого М. Е. Стожа я купил тогда в книжном киоске Иркутского вокзала, который был для меня своего рода клубом — ведь я же вырос в железнодорожном Глазковском предместье Иркутска, как и Иван Молчанов-Сибирский. Эти книги М. Е. Стожа хранятся у меня и сейчас, но в сильно потрепанном виде. А стишонки там действительно были на подбор скверные, ниже всякого самого дурного любительства; чего только туда не «напхал» этот М. Стож! Если еще о сибирских писателях, путешественниках, мореплавателях и землеоткрывателях, например о «российском Колумбе» — Гр. Шелехове, о памятнике на его могиле в иркутском Знаменском женском монастыре, или о сибирских курортах — Дарасуне, Аршане, кое-что и можно было выудить оттуда, то стихи — «сборная селянка», ничего не говорящая ни уму — ни сердцу, и особенно никудышны были стихотворные упражнения, от нечего делать, этой Дины Стож. Стож конечно, делал свой «бизнес», на свой страх и риск предпринял, ради де литературных занятий, открыть свою лавочку. Это не был книгоиздатель-просветитель типа Макушина. Я приносил к нему, чего греха таить, летом 1917 года, в год Революций, в промежутке между февралем и Октябрем, в дни керенщины, еще совсем парнишкой, тогдашние свои стихи (от них, слава богу, ничего не уцелело!); но он ничего вразумительного и практического не мог тогда сказать, так как его издательство «Ирисы» было уже на издыхании... Смешная страница в моей жизни!..

Хотя и мимоходом, но все же впечатляюще показан в Вашей книге трагизм поэтов и писателей, переметнувшихся в стан белогвардейщины и колчаковщины, или убежавших из России, навсегда покинувших Родину из-за своего неприятия Октябрьской революции. Под впечатлением Ваших строк, задумываешься о судьбе Георгия Маслова, Юрия Сопова, подорвавшегося на гранате при охране дома Колчака, Георгия Гребенщикова.

Ваша книга заставляет о многом поразмыслить.

Открытием для читателей и общественности будут Ваши проникновенные многозначительные строки о таких забытых или малоизвестных поэтах, как Игорь Славнин, Д. Глушков (Оле-

рон), В. Пруссак, поэт-большевик Федор Лыткин.

Надо сказать, о поэтах в Вашей книге сказано полнее и ярче, чем о сибирских прозаиках; поэтам в ней больше посчастливилось; так мне кажется...

Не знаю, как кто, но я читаю с глубоким кровным интересом Ваши строки о предреволюционной и ранней революционной литературе Сибири, о иркутском журнале «Багульник», альманахе «Иркутские вечера», о красноярском «Сибирские записки». В частности, я сам изучал эти «Сибирские записки» и делал из них выписки, особенно о Н. Ядринцеве, образ которого меня всегда притягивал и книги которого «Сибирь, как Колония», «Русская община в тюрьме и ссылке» и другие, меня потрясали и слогом, и живописностью, и глубиной исторических изысканий. Если Николай Михайлович Ядринцев и был «областник», даже отцом «сибирского областничества», как Г. Н. Потанин его «патриархом», то в высшем смысле этого слова, страстный, глубокий и просвещенный патриот своего родного края, оставивший так много превосходных трудов о нем. И как многогранна была его деятельность: и политический, передовой общественный трибун для своего времени, и блистательный редактор и создатель лучшей тогда в Сибири газеты «Восточное обозрение», и яркий художник слова, и замечательный ученый, и путешественник, обессмертивший себя удивительными открытиями! Это был высокий образец русского сибиряка-интеллигента, — и о нем бы не худо написать поэму или роман обобщающего значения.

Через всю Вашу книгу проходит подчеркнуто мысль и убежденность в неразрывной связи Сибири и так называемой «сибирской литературы», при всей ее несомненной и неизбежной самобытности, с общерусской литературой, в противовес «узколобым и твердолобым» сибирским областникам-сепаратистам, что я только всей душой приветствую и тоже стою на том же и сам. Хоть я и «столбовой и кровный сибиряк», как я писал в одном из своих ранних стихотворений «Сибиряки» (напечатанном в журнале «Сибирские огни» и в Москве), преклоняюсь перед «отцом сибирского областничества» Н. М. Ядринцевым и перед «патриархом» его Г. Н. Потаниным, сознавая, что они на десятки голов были выше своих ограниченных последователей «сепаратистов», я в то же время, как и Вы, убежденно ратую за то, что судьбы Сибири и сибирской литературы неразрывны и неразъединимы с судьбами общерусскими, а теперь — и общесоветскими, и помню высказывание И. А. Гончарова: «...все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь! У ней есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах, обычаях, отчасти, как вы видите, в языке, что и образует ей свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию» («Фрегат «Паллада», том второй, глава VIII — «Из Якутска»); эти слова И. А. Гончарова я взял эпиграфом к моей поэме «Сибирская родословная или Сказания о Братском остроге», в которой я попытался осветить за три-четыре века движение русской народности за Каменный Пояс (Урал) на Восток — в Сибирь, вплоть до берегов и островов Тихого океана. Никогда я не мыслил свою скромную поэтическую работу, как узко «областную», хотя меня сыздавна навеличивают «поэтом Сибири», но сам-то я понимаю, что я пишу не столько о сибиряках и Сибири, сколько все о том же моем русском народе, который на богатырских просторах Сибири и прибавил себе немало самобытных черт, и русский народный склад души и ума приобрел там еще и сибирскую закваску... Вот как я понимаю еще Вашу книгу и вот что мне еще дорого в ней.

Вы, не скованный сибирским происхождением и «местничеством», любя Сибирь, тесно связав свою судьбу с ней, возвышаетесь над пресловутым сибирским «областничеством», отметая в нем вредоносное начало и отдавая должное тому здоровому, что было в нем. Тем самым книга Ваша приобретает характер обобщенности, что прибавляет ей еще больше ценности.

А ведь немало сибиряков-писателей или живших, работавших, в Сибири, исследованных и названных Вами, были лично мной знаемы в той или иной степени. Я бы многое мог порассказать о них; даже составил для Вас список, кого я знал из тех, кого Вы называете в своей книге; но получился список такой длинный, что я отставил эту мысль, чтобы не утомлять однообразием.

Но читая, например, Ваши превосходные обстоятельные строки о Петре Драверте, я живо воссоздал свою иркутскую пору и то, что тогда меня нацелил на стихи о моей родной Сибири и он — Петр Драверт. И еще как сильно! Многие мои тогдашние иркутские стихи о севере, о тундре, о Байкале, о моей неизбывной тяге туда, печатные и не напечатанные, навеяны в значительной степени именно стихами Петра Драверта о якутском севере, о бадаранах — болотистых тундрах; ведь я там никогда и не бывал, вырос на юге Сибири. А приковал меня к этому поэту, открыл для меня его стихи, под сильным воздействием которых я был, не кто иной, как задиристый критик — бард футуризма, так часто упоминаемый Вами, Н. Ф. Насимович-Чужак, книги которого «Сибирский мотив в поэзии» и другие я тщательно тогда проштудировал. И он же — Н. Насимович-Чужак, по-настоящему, впервые «открыл для меня и Вл. Маяковского»; и я «открыл» для себя, понял и полюбил, стал наизусть заучивать стихи этого богатыря поэзии, и все это не без помощи Н. Насимовича-Чужака. Бывает же так!.. Скажу больше: увлеченность моя тогда Вл. Маяковским уберегла меня от «клюевщины», от воспевания избяно-мужицкой бревенчатой Сибиро-Руси, в духе стихов и самого Н. Клюева и ранних некоторых есенинских; а такая опасность для меня существовала и могла быть...

Ах, Вы еще не знаете, как любили иркутские девушки-комсомолки, из бывших гимназисток, наряду с Надсоном, Георгия Вяткина, тоже часто упоминаемого в Вашей книге! Я был тогда влюблен в одну такую комсомолку, ставшую уже и членом партии, большевичкой, но ее эстетические вкусы были в полном плену у Надсона и отчасти у Георгия Вяткина. Звуковые переливы в стихах, «стоны-звоны-перезвоны», как у Сергея Городецкого и К. Бальмонта, неопределенность лирических томлений дореволюционных стихов Георгия Вяткина тоже делали его поэтическим кумиром романтических настроенных барышень еще и в годы гражданской войны и первых лет Советской власти в Сибири. И мне, уже тогда печатавшему свои первые советские стихи в иркутских изданиях, начавшему писать о сибирских заимках, о мужиках-чалдонах, о Байкале, но только не «по-надсоновски», о варнаках-бродягах, о ямщицком Московском тракте, — моя любимая сурово противопоставляла стихи Георгия Вяткина, именно его томскую книгу «Под северным солнцем», как недосягаемый образец подлинной поэтической красоты. «Вот как надо писать стихи, чтобы стать истинным поэтом!» — говорили мне милые девичес-кие уста. А мог ли я предполагать, что всего через несколько лет Георгий Вяткин, еще недавно противопоставляемый мне как поэт, станет печатать обо мне в «Сибирских огнях», в других изданиях Новосибирска очень добрые отзывы, как о сибирском поэте, и эти отзывы Вы отчасти приводите в своей книге. Чудеса в решете, да и только! Забавна, причудлива жизнь... Лично я Георгия Вяткина не знавал и не видел, так же как и П. Драверта.

Но однажды я видел Арсеньева — автора «Дерсу Узала», встретился с ним в редакции журнала «Новый

мир», и мы с ним в коридоре долго и тепло разговаривали о Сибири, о Дальнем Востоке. Очень был приятный, общительный, увлекательный собеседник, этакий невысоконький, подобранный, поджарый, живчик.

Из дальневосточников же я также знавал Петра Комарова и незадолго до его смерти мы обменялись с ним дарственными книгами. В его некоторых стихах я чувствую многое созвучное мне и под такими его стихами, как «Золотая просека», «Хинганский родник», «Баллада о звероловe» я охотно бы подписался, не расстаюсь с ними.

Из стихов Ильи Мухачева, которого я тоже знавал — было в нем что-то от сибирского шамана и в облике и в одержимости его поэтическими заклинаниями, — я бы назвал «своим» его стихотворение «Детство» — очень оно мне нравится, и жалко, что оно не вошло почему-то в его книгу избранных в «Библиотеке сибирской поэзии».

А как я хорошо и много знал Ивана Ерошина! И по жизни его в Хакассии, и по встречам в Новосибирске, и особенно в Москве... Тяжелый, сложный и скорбный был путь у этого своеобразного сына русского народа, вышедшего из самых потаенных глубин его. Много бы я мог «посказать» о нем и героического, и забавного. Живой облик его был весь соткан из сочетания самых невероятных неожиданностей — от тончайшего проникновения в сокровенные тайны поэзии и мудрости народа, в тайны природы, в жизнь народов Востока, и до юродства, до какой-то его чисто русской неприкаянности в быту, всегда ставившей его в тяжкие трагические положения, и было в нем порой что-то от блаженного, так как это было на «святой Руси» в древности. А поэт он был истинный! Но сложный, противоречивый, и в стихах его истинное золото было перемешано с таким толстым слоем всякого шлака, что докопаться до этого золота было порой так трудно, что нередко никто и не подозревал в нем большого тонкого поэта, даже братья-писатели отказывали ему в этом и не понимали того. А вот Ромен Роллан понял, почувствовал!..

Вы просите, Василий Прокопьевич, поделиться с Вами моими замечаниями, пожеланиями, уточнениями, дополнениями, и вообще всякими соображениями, которые я сочту возможным высказать в адрес Вашей книги. Я, как видите, начал издалека, потому что книга Ваша дает повод к большому обобщенному разговору.

А замечания? Что ж, они — частные. Я бы, например, не назвал участников иркутской «Барки поэтов» маститыми, хотя бы и в сравнении с начинающими пролетарскими поэтами-илховцами (см. у Вас на стр. 186). Нет, они все из «Барки поэтов» были еще сравнительно молодыми, едва ли кто из них был старше 35 лет.

На стр. 36 Вами сказано: «Во главе его (ИЛХО) стояли... редактор газеты «Власть труда», в прошлом коммунист-подпольщик Г. А. Ржанов». А он тоже был молод — и слово «в прошлом» как-то не вяжется с его тогдашним обликом, так как он и в настоящем был коммунист, и только при колчаковщине, тогда еще совсем недавней, невольно стал на какое-то время подпольщиком. Слишком близко его «прошлое» стояло тогда к нему и к нам по времени, чтобы его тоже зачислять в маститые.

На стр. 187, по поводу того, что возникло раньше — наш ли «кружок молодых поэтов» или же «ИЛХО», от которого отпочковался этот кружок, Вы сделали сноску: «Это не совсем точно. Кружок поэтов отпочковался от журналистского кружка при «Власти труда»... Гм?! Тут память у нас что-то несомненно путает; мы кое-что уже не можем точно установить — исток зарождения «кружка молодых поэтов». Тут у меня споры и разногласия даже с Валерием Павловичем Друзиным, хотя у него память феноменальная — у него в голове многое раз навсегда отпечаталось, как глубоким резцом по мрамору. Но и он тут что-то путает. Сдается мне, что точнее все же было не так, как у Вас в сноске; некоторые из нас — молодых—впервые стекались еще в «Барке поэтов», а потом к ним примкнули и те, кто появился на заседаниях при «Власти труда»; мы быстро спелись, нас не удовлетворяли только сборища в газете, мы — молодые поэты — стали собираться еще отдельно, а помещение нам предоставлял Иргосун, именно здание Педагогического факультета, благодаря отчасти покровительству преподавателя Л. Г. Михалковича. Когда же возник журнал «Красные зори» и определилось название ИЛХО, когда мы почти все (кроме Ивана Молчанова-Сибирского) стали штатными сотрудниками газеты «Власть труда», то мы — молодые поэты — уже перестали собираться в здании Педагогического факультета и, не довольствуясь заседаниями ИЛХО, сходились более тесным кружком еще и на квартире И. Уткина, иногда — реже — у В. Друзина.

Вы заслуженно отмечаете газету «Красный стрелок», как собирателя литературных сил в Восточной Сибири, своего рода пестуна молодых поэтов. Но сравнительно мало Вы сказали о роли газеты «Власть труда», которая тоже немало сделала для собирания и роста советской литературы в Восточной Сибири в 20-х годах; на страницах ее было напечатано немало и стихов, и очерков, и фельетонов, и рассказов илховцев, а также поэтов и прозаиков, не входивших в ИЛХО. Большинство моих стихов иркутского периода было именно напечатано в газете «Власть труда», равно как и ранние стихи Иосифа Уткина, Джека Алтаузена, Валерия Друзина (меньше Ивана Молчанова-Сибирского; он одно время жил и учился в Красноярске). Под крышей «Власти труда» было создано и ютилось ИЛХО, там же была редакция и журнала «Красные зори», неотделимая от сотрудников газеты — это было одно и то же.

Задним числом я узнаю из Вашей книги, что в «Красном стрелке», помимо прочих, печатался и поэт Сергей Обрадович. А через несколько десятилетий он был редактором моей московской книги «Родня». Так своеобразно причудлива бывает перекличка писателей!..

Словом, о многом узнаешь из Вашей книги и делаешь для себя открытия.

Ваша книга разбудила во мне многие дремавшие чувства и воспоминания, заставила о многом подумать.

Михаил СКУРАТОВ.

АЛЬМАНАХ „АНГАРА“ № 5

Художественный редактор А. И. Аносов
Технический редактор Г. Ф. Карамзина
Корректор П. Ю. Козловская

Сдано в набор 15 июля 1968 г. Подписано в печать 25 ноября 1968 г.
Печ. л. 8,06. Уч.-изд. л. 12,32. Бумага типогр. № 3 Формат 84×108[1]/16.
Тираж 3000. Заказ № 3987. НЕ 00233.

Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.
Типография «Восточно-Сибирская правда».

УДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

ЕСЛИ
ДОРОГ ТЕБЕ
ТВОЙ ДОМ...

ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КИНОСТУДИИ · ГОРОД МОСКВА

Киноплакат. Дипломная работа выпускника Иркутского училища искусств Г. Неупокоева.

40 коп.